

ХРОНИКИ КРАСНОЙ НИТИ

МЁРТВЫЕ ЗВЁЗДЫ ВСЁ ЕЩЁ СВЕТЯТ

Том 1 · Голод звёзд

АНТОНИЯ АЙРИС

18+

Антония Айрис

**Мёртвые звёзды всё
ещё светят. Том 1**

«Автор»

2026

Айрис А.

Мёртвые звёзды всё ещё светят. Том 1 / А. Айрис — «Автор»,
2026

Никогда не говори, что ты один. Иногда тот, кто принадлежит твоей душе, просто ещё не нашёл эту жизнь. Когда-то они были двумя звёздами, чей свет не выдержал собственной силы. Теперь Лея и Адам рождаются снова и снова — в разных телах, эпохах и судьбах. Они не помнят прошлое, но узнают друг друга раньше разума: в огне, воде, чужом взгляде, случайном имени и красной нити, которая тянется сквозь время. Но эта нить не обещает счастья. Она похожа на шов на древней ране: ведёт к любви, боли, выбору и цене, которую не всегда можно заплатить без крови. «Голод звёзд» — первый том саги «Мёртвые звёзды всё ещё светят. Хроники красной нити» о любви, которая старше памяти, и о двух душах, которым предстоит понять: судьба может привести к человеку, но не может выбрать за него.

© Айрис А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава	5
Пролог · До того как у них были имена	6
Часть I · Голод звёзд	11
Глава 1 · Первый огонь	12
Место падения	38
За хребтом	47
Нижняя тропа	49
Люди нижних камней	51
Ночная сделка	53
Конец ознакомительного фрагмента.	54

Мёртвые звёзды всё ещё светят. Том 1

Глава

Моим родителям.

Маме — за веру, терпение и поддержку, которая держала меня,
когда я сама ещё только искала свой голос.

И моему отцу — не по крови, а по выбору, любви и поступкам;
человеку, который стал мне родным по-настоящему.

Эта книга — для вас.

Некоторые звёзды умирают.

Но их свет всё ещё идёт.

И иногда этот свет становится памятью,
которую невозможно похоронить.

Пролог · До того как у них были имена

Сначала они не встретились: они были одним эхом, которое не умело быть отдельно. В самом начале не было ни неба, ни земли, ни тех слов, которыми потом люди станут оправдывать свои потери. Там ещё не существовало ни «поздно», ни «нельзя», ни человеческого «я выбираю долг», «я выбираю страх», «я выбираю себя не так, как нужно». Не было домов, поездов, стен, дверей, чужих колец на пальцах и писем, которые слишком долго лежат неотправленными. Была только темнота. Но темнота тогда не была пустотой. Она была дыханием до первого вдоха. Глубокой, живой, огромной тишиной, в которой всё ещё могло стать чем угодно. И однажды в этой тишине дрогнула точка света. Она появилась не громко: не как победа, не как чудо, ради которого кто-то поднял занавес, а так, как появляется первая мысль у того, кто долго не помнил себя: осторожно, почти стыдясь собственного существования.

Маленькая золотая точка была тёплой, слишком тёплой для той безымянной тьмы. Она светила не потому, что хотела быть видимой. Она светила, потому что иначе не могла. Её свет был мягким, живым, почти человеческим, хотя людей ещё не было. В нём было что-то от будущих окон, за которыми кто-то будет читать ночью. От свечей, поставленных рядом с кроватью. От рук, которые не умеют спасти мир, но умеют держать страницу, письмо, лицо, чужую боль. Она была первым теплом. И долго ей казалось, что этого достаточно. Но свет, если он живой, рано или поздно начинает искать ответ. Она тянулась в темноту. Не боялась её. Разговаривала с ней своим сиянием. Отдавала ей маленькие искры, будто кормила невидимое животное с ладони. Она хотела осветить всё. Не потому что была сильной. Потому что не выносила, когда что-то оставалось одно. И тогда, очень далеко, так далеко, что расстояния ещё не имели смысла, открылся другой свет.

Он был не золотым, а глубоким синим, почти чёрным, с красным ядром внутри. Если она была первым теплом, он был первой гравитацией. Он не распускался наружу: собирал, удерживал и делал вокруг себя форму, границу, закон. Он не просил темноту отступить. Он заставлял её вращаться вокруг себя. Его свет был строже, резче и тише. В нём было что-то от будущих бурь над горами, от железной воли, от волчьего взгляда в снегу, от мужчины, который однажды войдёт в комнату и не повысит голоса, потому что весь мир и так поймёт, что он опасен. Он не хотел быть красивым. Он хотел быть необходимым. И, возможно, именно поэтому она первой его заметила. Сначала они не приближались. Они только чувствовали друг друга на расстоянии. Она светила шире, когда он был рядом. Он становился тяжелее, устойчивее, когда слышал её тепло. Ни один из них ещё не знал, что такое одиночество, но оба вдруг поняли, что до этого были неполными.

Это было странное чувство: не желание, не любовь в том смысле, который позже придумают люди, не нежность, не страсть и не обещание. Это было узнавание без памяти. Она не знала его. Но её свет уже менялся, когда он приближался. Он не знал её. Но его тьма уже переставала быть только тьмой, когда она смотрела в его сторону. Они начали вращаться друг вокруг друга. Сначала медленно, как будто Вселенная пробовала первый танец и боялась ошибиться в шаге. Она оставляла за собой золотую пыль. Он оставлял за собой синюю тень. Между ними тонко, почти незаметно, начала проступать красная линия. Это была ещё не цепь и не знак боли, а просто нить света, которая появлялась там, где их силы касались друг друга. Она была тонкой, как волос, но древнее любого будущего языка. Она дрожала, когда они отдалялись, и становилась ярче, когда они снова находили общий ритм. Они были совершенно разными.

Она хотела раскрыться, он — удержать. Она верила, что свет становится сильнее, если его отдавать. Он верил, что всё живое надо охранять, даже от самого себя. Она не понимала границ, а он не понимал, как можно любить без границ. Она тянулась к пустоте, чтобы согреть

её. Он вставал между ней и пустотой, чтобы пустота не поглотила её. И долго это казалось идеальным. Она думала: он держит меня, когда я слишком много отдаю. Он думал: она возвращает мне свет, когда я слишком сильно темнею. Они не замечали, как это становилось не любовью, а дыханием через другого. Когда она тускнела, он горел за двоих. Когда он тяжелел от собственной тьмы, она отдавала ему столько света, что сама становилась прозрачной. Когда она хотела уйти дальше, увидеть больше, согреть больше, он сжимал вокруг неё орбиту, и она называла это заботой. Когда он хотел молчать веками, она входила в его тёмное ядро и вытаскивала оттуда искры, которые он не разрешал никому трогать, и он называл это спасением.

Они становились ближе — слишком близко, так близко, что однажды темнота между ними исчезла. А вместе с ней исчез воздух. В космосе, где ещё не было тел, им стало нечем дышать. Она больше не знала, где заканчивается её свет и начинается его синий огонь. Он больше не знал, что в нём принадлежит ему, а что стало её теплом, впаянным в его ядро. Она смеялась вспышками, и он становился ярче. Он молчал, и она начинала гаснуть, будто его тишина была законом для её света. Они не ссорились; у звёзд нет голосов для ссор. Но их орбиты уже спорили. Она расширялась, он удерживал. Она хотела верить всему пространству. Он подозревал всё пространство. Она говорила светом: «Пусти. Я должна коснуться мира». Он отвечал тягой: «Не уходи. Мир не умеет быть бережным». Она думала, что он боится потерять её. Он думал, что она не ценит то, как сильно он её защищает.

Так появились первые обиды. Ещё не человеческие и без слов, но настоящие. Обида её света: почему он зовёт любовью то, что не даёт мне двигаться? Его тьма горела ответом, с которым он боялся встретиться: потому что если ты уйдёшь, я не знаю, останусь ли я. И всё же они не расходились. Не могли. Они уже привыкли существовать как одна двойная звезда. Если она отдалялась, его ядро начинало звучать пусто. Если он уходил глубже в свою тишину, её золотое тело дрожало, будто кто-то вынул из него смысл. Она боялась стать просто светом без дома. Он боялся стать просто силой без причины. И каждый раз, когда между ними появлялась боль, они делали то, что потом будут делать во многих жизнях. Вместо правды они сливались сильнее. Она давала больше света. Он давал больше защиты. Она становилась мягче там, где надо было стать честнее. Он становился крепче там, где надо было отпустить.

И Вселенная, которая ещё училась понимать свои собственные законы, смотрела на них и молчала. Потому что это было красиво, а красивое очень часто обманывает даже тех, кто его создал. Две звёзды рядом: золото и синий, тепло и гравитация, свет и буря. Они освещали друг друга так ярко, что вокруг них начали рождаться первые пылинки будущих миров. Их сияние задевало тёмную материю, и та складывалась в спирали. Их красная нить дрожала, и из этой дрожи появлялись первые ритмы. Там, где она смеялась, пространство становилось мягче. Там, где он удерживал, хаос становился формой. Если бы тогда уже были люди, они бы назвали это любовью. Если бы тогда уже были поэты, они бы солгали и сказали: «Они были созданы друг для друга». Но правда была сложнее. Они были созданы разными. И именно поэтому потянулись друг к другу с такой страшной силой. Она любила в нём то, чего в ней не было: твёрдость, предел, способность стоять перед тьмой и не распадаться.

Он любил в ней то, чего в нём не было: тепло без расчёта, доверие без брони, свет, который не спрашивал разрешения быть нежным. Они хотели не просто любить, они хотели стать друг другом. И это было первой ошибкой, которую никто тогда не умел назвать. Однажды она попыталась уйти дальше, чем обычно. Не навсегда, нет. Она просто увидела вдалеке холодную, несформированную область тьмы, такую одинокую, что её свет потянулся туда сам. Он почувствовал это раньше, чем она успела понять. Красная нить натянулась. Его синее тело вспыхнуло тревогой. Он потянул её назад слишком резко. Она вздрогнула всем светом. Впервые между ними прошла не нить, а боль — маленькая красная трещина. Он испугался, и она тоже. Они оба сделали вид, что ничего не произошло. Она приблизилась сама, чтобы он не подумал, что она хочет уйти. Он расширил вокруг неё свою орбиту, чтобы она не почувствовала удар.

Они снова стали красивыми, но теперь внутри их красоты тикало невидимое будущее. Потом это случилось снова и снова. Каждый раз, когда она тянулась к неизвестному, он удерживал. Каждый раз, когда он становился слишком тяжёлым, она отдавала ему ещё часть себя. Они называли это верностью, близостью, «мы». Но их «мы» становилось огромным. Слишком огромным для двух звёзд. И постепенно съедало «я». Её свет начал бледнеть по краям. Его ядро стало гореть краснее. Тьма вокруг них уже не была спокойной. Она двигалась. Слушала. Сгущалась там, где их нить пульсировала слишком сильно. Они не заметили. Влюблённые звёзды редко замечают, что пространство вокруг них меняется, если смотрят только друг на друга. И была ночь без ночи, потому что суток ещё не существовало. Была тишина без звука, потому что у пустоты ещё не было ушей.

И в этой тишине она впервые погасла на мгновение. Совсем чуть-чуть, так мало, что другая звезда могла бы не заметить. Но он заметил раньше неё. В нём что-то оборвалось глубже мысли и страха. Он рванулся к ней всем своим синим телом, всей тяжестью, всем красным ядром, которое до этого веками держал под контролем. Она вспыхнула от его прикосновения, но не потому, что стала сильнее. Потому что он отдал ей часть своего ядра. Там, где его сила вошла в её свет, появилась новая красота. Страшная красота. Красота, от которой рождаются легенды и катастрофы. Она снова засияла. Ярче прежнего. Он ослаб. Она почувствовала это и испугалась так сильно, что отдала ему обратно свой свет. Он вспыхнул. Она побледнела. Он снова потянулся. Она снова отдала. Так начался их первый круг. Не танец. Не любовь. Голод. Они кормили друг друга собой.

Сначала понемногу. Потом всё больше. Они думали, что спасают. А на самом деле они учились исчезать друг в друге. Если бы тогда существовало слово «нельзя», оно, возможно, спасло бы их. Но не было слова. Была только красная нить, ставшая толще. Был свет, который плакал искрами. Была тьма, которая держала так крепко, что сама начинала трескаться. Была она, шепчущая без голоса: «Не оставляй меня одной с моим светом». Был он, отвечающий без языка: «Не заставляй меня быть тьмой без тебя». И где-то очень далеко, в ещё не рождённых мирах, будущие океаны вздрогнули, будто уже знали вкус соли. Потому что звёзды тоже умеют плакать. Только их слёзы становятся кометами. Её первые слёзы ушли в пространство золотыми хвостами. Его первые слёзы были тёмными, тяжёлыми, с красным огнём внутри. Они падали туда, где когда-нибудь появятся ночи, и оставались в них маленькими точками тоски.

Они плакали не от боли, ещё нет; они плакали от невозможности быть достаточно близко. Это самый опасный вид тоски: когда уже близко, уже внутри, когда другой стал твоим воздухом, и всё равно мало — света, защиты, слияния, самого «мы». Тогда она сказала первое обещание не словами, а светом. «Если ты начнёшь гаснуть, я буду светить за нас обоих». Он ответил первым законом не словами, а гравитацией. «Если мир потянется к тебе, я стану между вами». Они оба думали, что это любовь. И, возможно, часть этого действительно была любовью. Самая нежная часть. Самая чистая. Та, которую потом будут искать все их будущие души. Но внутри обещания уже жила опасность. Никто не должен светить за двоих. Никто не должен становиться стеной между любимым и всем миром. Только тогда никто этого не сказал. Их связь стала такой яркой, что начала мешать другим светам рождаться рядом. Пространство выгибалось. Пыль будущих миров то собиралась, то рассыпалась. Там, где их нить проходила через тьму, оставались тонкие красные следы.

Она смеялась реже, он молчал глубже, а они всё ещё любили. Может быть, даже сильнее. Но их любовь стала похожа на звезду, которая не знает, что уже умирает, потому что снаружи всё ещё выглядит прекрасной. И потом наступил миг, который не должен был наступить. В ней снова дрогнул свет. На этот раз дольше. Она попыталась скрыть это, как потом будет скрывать усталость в других жизнях: улыбкой, молчанием, красивым видом, слишком мягким «всё хорошо». Но у звёзд нет лиц. Скрывать можно только от того, кто не знает тебя насквозь. Он знал её слишком хорошо и увидел, как её золотое тело стало тоньше. Как по краям её света

прошла прозрачность. Как красная нить между ними уже не сияла ровно, а дрожала, будто держала слишком много боли. И тогда он сделал то, что потом будет делать много раз. Он решил спасти её без её согласия. Не из жестокости. Из ужаса. Из любви, которая не умела стоять рядом и спрашивать.

Он раскрыл своё ядро целиком. Синий свет стал чёрным. Красное ядро вышло наружу. Вся его тяжесть, вся его сила, весь его страх потерять её хлынули к ней огромной волной. Она закричала светом не потому, что не любила, а потому что поняла: если он отдаст ей себя целиком, он исчезнет. И впервые она не приняла: толкнула его свет обратно, потому что иначе не могла. Её золотая вспышка ударила в его раскрытое ядро. Его красное ядро столкнулось с её белым огнём. На одно невозможное мгновение они стали тем, чего так долго хотели. Одним. Совершенно одним. Без расстояния. Без края. Без «ты» и «я». И это оказалось не раем. Это оказалось концом формы. Потому что когда две звёзды, созданные разными, пытаются стать одной, мир не получает любовь. Мир получает взрыв. Сначала исчез звук, которого ещё не было. Потом исчезла темнота. Потом пространство разошлось, будто больше не могло удерживать их свет.

Их общий свет ударил во все стороны. Золото, синий, красный, белый, чёрный — всё смешалось в такой яркости, что будущие галактики запомнили её как первое горе. Она пыталась удержать его. Он пытался закрыть её собой. Они оба опоздали: их тела распались, их свет разорвало. Их имена, которых ещё не было, не успели появиться. Красная нить вытянулась между осколками, стала тонкой, почти невидимой, но не порвалась. Она летела в одну сторону, рассыпаясь тёплыми искрами. Он летел в другую, оставляя за собой тёмную синюю пыль. Между ними не было ни слов, ни рук, ни обещаний. Только последнее знание. Это было не мыслью и не фразой, а знанием, которое будет потом просыпаться в них чужими снами, странной тоской, болью в груди без причины, страхом опоздать, привычкой искать лицо в толпе, любовью к окнам, книгам, бурям, звёздам, дождю, чужим городам, дверям, которые почему-то хочется открыть.

Знание было простым: они были не готовы быть одним. Но уже не могли забыть, что нашли друг друга. Их свет продолжал идти через пустоту, через пыль, через ещё не рождённые солнца, через будущие моря, где однажды будут тонуть корабли. Через будущие города, где будут гореть дома. Через будущие стены, двери, вокзалы, больницы, площади, театры, окна, письма и ладони, которые почти коснутся. Но этого они ещё не знали; пока не было ни людей, ни жизни, ни ошибок, было только эхо — древнее, красное, живое. И где-то в темноте, среди осколков двух погибших звёзд, одна искра всё ещё тянулась к другой. Не чтобы стать ею и ещё не зная, как иначе, а просто потому, что даже мёртвые звёзды продолжают светить туда, где их однажды любили.



Часть I · Голод звёзд

Они не хотели любви. Они хотели перестать быть отдельными.

Глава 1 · Первый огонь

Иногда первая человеческая любовь начинается не с поцелуя. Иногда она начинается с того, что кто-то приносит тебе огонь. У огня было два правила: его нельзя было оставлять голодным и нельзя было смотреть в него слишком долго. Эла нарушила оба. Она сидела у каменного очага, поджав под себя босые ступни, и кормила пламя тонкими сухими ветками можжевельника, хотя старуха Мара ещё на закате сказала: «Хватит. Ночь будет тёплая». Старуха Мара врала, как всегда вралі старые люди, когда хотели проверить, кто из молодых умеет думать без приказа. Ночь не будет тёплой. С гор сползал ветер, острый и мокрый, и его дыхание уже трогало вход в пещеру, шевеля подвешенные шкуры. Огонь отвечал Эле потрескиванием. В нём было что-то почти разговорное: маленькая злость, если ветка была сыровата; довольный вздох, если сухая; короткий смех, если из смолы выстреливала искра.

Эла знала эти голоса лучше, чем голоса людей. Люди всё время говорили одно, а делали другое. Огонь был честнее. Если он хотел есть, он ел. Если его душили, он чернел. Если ему давали воздух, он становился выше. С людьми было сложнее. Эла протянула руку к мешочку с сухим грибом-трутовиком и остановилась. У входа в пещеру мелькнула тень. Не зверь. Звери шли иначе. Они не задерживали дыхание перед тем, как войти туда, где их могли заметить. Она не подняла головы, только взяла тонкую ветку и положила её в огонь.

— Если ты пришёл красть мясо, — сказала она, — то поздно. Старшие уже всё съели, а младшим оставили жилы и сказали, что это учит терпению.

Тень у входа замерла. Потом человек тихо усмехнулся. Не громко, не открыто, не так, как смеялись мальчишки у реки, когда бросали друг в друга рыбы головы. Этот смех был низкий, короткий, будто человек поймал себя на том, что забыл быть осторожным.

— Я пришёл за огнём, — сказал он.

Эла подняла глаза. В пещере было темно, но огонь делал лица честными. Он не украшал. Он вытаскивал наружу то, что дневной свет ещё мог спрятать. И потому Эла сразу увидела: чужак не был мальчиком из соседнего стойбища. Он был выше. Темнее. На плечах у него висела мокрая шкура, а волосы прилипли ко лбу после дождя. На скуле темнела полоска крови — не свежая, уже подсохшая. В руке он держал копьё, но так, будто копьё было продолжением руки, а не угрозой. Его глаза не бегали по пещере в поисках еды, женщин или выхода. Они остановились на ней. И мир, который всегда шумел, вдруг стал тише. Не совсем тихим. Где-то за спинами спали дети, хрипел старый Дор, капала вода с каменного выступа, снаружи ворчала река. Но всё это отодвинулось, как если бы кто-то положил ладонь на рот самому миру. Эла почувствовала, как её дыхание изменилось. Не быстрее. Не медленнее.

Во всём этом было что-то чужое, будто она вдохнула не воздух, а память о воздухе, которым уже когда-то дышала. Чужак тоже это почувствовал. Она поняла по тому, как он на миг перестал быть охотником. Опасное в нём никуда не исчезло, но замерло. Как волк, который вышел к ручью и увидел в воде не добычу, а луну.

— За огнём приходят с чашей, — сказала Эла.

Голос у неё вышел слишком ровный. Ей это не понравилось. Когда женщина говорит слишком ровно, мужчины думают, что она боится. Когда говорит резко — что её надо сломать. Эла ещё не решила, что безопаснее. Чужак опустил взгляд на свои пустые руки и снова почти улыбнулся.

— У меня была чаша.

— Она решила жить отдельно?

— Она решила разбиться о камень, когда я падал с тропы.

Эла впервые заметила, что правая нога у него стоит не так. Он держался прямо, но вес переносил на левую. Гордыня делала людей смешными. Даже раненые мужчины старались выглядеть так, будто это земля у них под ногами виновата, а не боль.

— Значит, ты не пришёл за огнём, — сказала она. — Ты пришёл за женщиной, которая даст тебе огонь, потому что ты слишком гордый попросить лечить ногу.

Он посмотрел на неё внимательнее.

— Ты всегда говоришь так, будто бросаешь камни?

— Нет. Иногда я бросаю камни.

На этот раз он рассмеялся по-настоящему. Эла успела подумать, что у него хороший смех. Мысль была плохой и опасной. У мужчин с хорошим смехом женщины чаще забывали, что потом им всё равно придётся слушаться старших, рожать детей, хранить очаги и не идти туда, куда тянет кровь. Он не коснулся её, даже не шагнул ближе, но Эле всё равно пришлось на миг отвести взгляд, будто он уже сделал что-то лишнее. Она взяла маленький глиняный черепок, поддела им уголь и положила сверху сухой мох. Затем поднялась.

— Сядь.

— Я не...

— Сядь, пока не упал. Если умрёшь у нашего входа, Мара скажет, что это дурной знак, и заставит меня три дня жечь травы. Они воняют хуже мёртвого козла.

Чужак послушался не сразу. Конечно. Сначала он оценил пещеру, расстояние до других спящих, её руки, очаг, выход, оружие, которого у неё якобы не было. Потом сел на камень у стены. Сделал это медленно, почти красиво, и только в конце губы у него побелели. Эла взяла кожаный мешок с травами и подошла. Вблизи он пах дождём, кровью, дымом чужого костра и чем-то горьким, как полынь. Его плечо было разорвано под шкурой, но не это привлекло её внимание. На запястье у него была тонкая красная полоска. Не кровь. Шнур. Старый, выцветший, завязанный простым узлом. Она уставилась на него дольше, чем нужно.

— Что? — спросил он.

— Ничего.

Люди говорили «ничего» в трёх случаях: когда было ничего, когда было слишком много, и когда правду нельзя было произносить без последствий. Это был третий случай. Эла коснулась его колена, чтобы повернуть ногу к свету, и в ту же секунду огонь в очаге поднялся выше. Под её пальцами он напрягся. Не от боли одной. Она почувствовала это и разозлилась на себя за то, что почувствовала. Не от ветра. Не от смолы. От неё. От него. От того, что между ними вдруг вспыхнуло так резко, будто кто-то подбросил в мир сухую траву. Они оба посмотрели на пламя.

— Ты это сделала? — тихо спросил он.

— Нет.

— Ты врёшь, — сказал он, и она не стала спорить.

Он повернул голову к ней. Теперь они были слишком близко. Так близко, что Эла увидела тонкую светлую линию старого шрама у него под нижней губой. И саму нижнюю губу тоже увидела — слишком отчётливо для женщины, которая собиралась всего лишь перевязать раненого чужака. И ещё — странную усталость в глазах. Не усталость сегодняшнего дня. Не от падения, не от крови, не от дороги. Она была глубже, старше его лица. Так смотрят не те, кто долго шёл. Так смотрят те, кто долго возвращался и каждый раз не находил дома. У Элы дрогнули пальцы. Она могла бы отступить. Должна была. Чужие мужчины не сидели у очага ночью. Девушки, которым уже назначили мужчину из соседнего рода, не трогали колени охотников с перевалов. А тех, кто слышал огонь, вообще берегли как нож из хорошего камня: не для любви, а для пользы. Её уже обещали. Не сегодня и не вчера. Такие решения не делались быстро. Старшие говорили: женщина не уходит из рода, она связывает роды. Как ремень свя-

зывает наконечник с древком. Как узел держит две вещи вместе. Как старый обычай держит людей там, где они сами уже не выбрали бы остаться.

Эла слушала и кивала. Она давно научилась кивать так, чтобы люди думали, будто она согласна.

— Как тебя зовут? — спросил он.

Она не ответила сразу. Имя было вещью не маленькой. Его не бросали чужаку ночью, как косточку собаке. Имя можно было забрать в сон, привязать к проклятию, повторять над водой, пока человек не начнёт болеть. Так говорила Мара. А Мара часто преувеличивала, но редко ошибалась там, где дело касалось страха.

— Эла, — сказала она.

Звук не прозвучал, и всё равно она его услышала: Лея. Но когда чужак повторил его одними губами, Эле показалось, что его рот почти сложился иначе. Мягче. Длиннее. Как будто за её именем стояло другое — то, которое нельзя было знать в этой пещере. Это было её земное имя: короткое, удобное, пригодное для крика у реки, для приказа у очага, для будущего мужа, которому старшие уже почти отдали её жизнь. Он повторил имя без голоса, одними губами, и ей стало страшно не потому, что он произнёс его, а потому что на его губах оно выглядело не новым.

— А ты? — спросила она.

— Арэн.

Она не знала этого слова, не могла знать — и именно поэтому испугалась: под именем Адам слышалось другое. Он сказал это твёрдо, как говорят имя, которым можно прикрыться от чужого взгляда. Но Эла вдруг почувствовала: это имя лежит на нём сверху. Как мокрая шкура на плечах. Как вещь нужная, но не окончательная. Имя упало между ними тяжело, как камень в воду. Эла знала только, что имя «Арэн» не должно было так быстро поселиться у неё глубоко внутри. Оно было чужим. А всё чужое в её мире сначала проверяли огнём, голодом и старшими женщинами. Только не сейчас, не здесь, не с чужаком у очага.

— Ты из людей за северным хребтом, — сказала она, чтобы вернуть миру форму.

— Был.

— Был?

— Теперь не знаю.

Он сказал это просто, и от этой простоты стало холоднее. Эла разрезала его мокрую повязку костяным ножом. Под ней кожа вокруг раны припухла, но глубокого гниения ещё не было. Она наклонилась ближе, понюхала. Арэн не пошевелился.

— Ты нюхаешь людей, когда лечишь? — спросил он.

— Нет. Только тех, кто может сгнить до утра.

— Заботливо.

— Я не заботливая. Я практичная.

— Это одно и то же, если человек выживает.

Эла замерла. Вот так он говорил: грубо, коротко, будто ставил камни в стену. Но иногда между камнями оставалась щель, и оттуда шёл свет. Она промыла рану водой с горькой травой. Он даже не выругался. Только посмотрел в сторону и сжал зубы.

— Можно кричать, — сказала она. — Тут все спят как убитые. Кроме Мары. Но она всё равно притворяется, что знает чужую боль лучше самой боли.

— Я не кричу.

— Почему?

— Потому что тогда люди думают, что могут прийти ближе.

Вот оно. Не рана. Не кровь. Не шрам. Вот что в нём было опаснее копья. Он не боялся боли. Он боялся, что боль станет дверью. Эла вдруг поняла это с такой ясностью, будто сама когда-то была этой дверью и её захлопнули перед лицом. Она приложила к ране травы и при-

вязала их полосой чистой кожи. Его тело было горячим под её пальцами. Слишком живым. Слишком реальным после всех её разговоров с огнём и травами.

— У тебя руки холодные, — сказал он.

— У тебя кровь горячая.

— Это жалоба?

— Наблюдение.

— Ты всем мужчинам так отвечаешь?

— Только тем, кто падает с горы и потом делает вид, что пришёл за углём.

Он снова улыбнулся. И Эла впервые позволила себе улыбнуться в ответ. Это было крошечное преступление. Совсем маленькое. Меньше украденной ягоды, меньше лишнего куска жира, меньше слова, сказанного старшей женщине в спину. Но некоторые преступления не требуют свидетелей. Тело само помнит, что оно сделало. В глубине пещеры зашевелилась Мара. Эла отступила так быстро, будто её поймали с рукой в чужом мешке. Арэн заметил. Конечно заметил. Такие мужчины замечали всё, что могло стать опасностью. Из темноты поднялся голос старухи:

— Если ты приведёшь нам беду, девочка, пусть она хотя бы будет с мясом.

Эла закрыла глаза. Арэн посмотрел в темноту.

— У меня есть только нож и плохая нога.

— Значит, беда пришла бедная, — сказала Мара. — Худший вид беды. Богатую можно ограбить.

Где-то рядом хрюкнул от смеха полусонный мальчик. Уют вернулся внезапно и почти жестоко: спящие тела, дым, старушечий яд, огонь, чужак с перевязанной ногой. На один миг всё стало простым. Будто мир был не клеткой правил, а местом, где можно посмеяться ночью и никому не умереть от этого. Эла ненавидела такие минуты. Они обманывали лучше любых обещаний. К рассвету дождь закончился. Пещера начала просыпаться: дети плакали от голода, мужчины искали свои ремни, женщины проверяли корзины, Мара ругалась на всех, кто дышал слишком громко. Арэн сидел у выхода, уже на ногах, уже чужой. Ночная близость исчезала с него, как пар с камня. Эла принесла ему маленький черепок с тлеющим углём.

— Вот твой огонь.

Он взял его осторожно, будто это было не пламя, а сердце маленького зверька.

— Я верну.

— Огонь не возвращают. Его несут дальше.

Арэн посмотрел на неё, и опять мир стал меньше.

— Тогда я вернусь с другим.

Она должна была сказать: не надо. Должна была рассмеяться. Должна была попросить мясо, соль, кремь, что угодно полезное. Но в горле стояло что-то слишком большое для разумной женщины.

— Тебе нельзя часто ходить через северную тропу, — сказала она. — Камни там мокрые даже в сухой день.

— Ты волнуешься?

— Я не люблю зря тратить травы.

— Практично.

— Я уже говорила.

— Я запомнил.

Он ушёл после солнца, когда мужчины решили, что раненый чужак не стоит копыа, а женщины — что он слишком красив, чтобы обсуждать это вслух. Эла смотрела, как он спускается к реке. Один раз он обернулся. Только один. И этого хватило, чтобы весь день стал неправильным. Неправильной стала вода, потому что в ней отражалось небо, которое он видел по дороге. Неправильной стала корзина, потому что её ремень тёр ладонь в том месте, где

она касалась его кожи. Неправильными стали голоса людей, потому что в каждом был не его голос. Вечером пришёл её обещанный мужчина. Его звали Рун. Он был не плохой. Это было хуже. Плохого можно ненавидеть чисто. Рун был крепкий, спокойный, с руками, которые умели чинить ловушки и не били детей без причины. Он принёс её матери полоску сушёного мяса, Маре — кусок жирного корня, а Эле — бусину из голубого камня. Смотрел на неё с честной гордостью человека, который уже мысленно положил её в свой дом рядом с очагом, шкурами и будущими сыновьями.

— Цвет неба после дождя, — сказал он, протягивая бусину.

Эла взяла её.

— Красиво.

— Я сам выменял.

— Значит, дорого.

— Ты стоишь дорого.

Он сказал это как похвалу. Эла почувствовала, как внутри неё что-то тихо закрылось. Рун не был жестоким. Он просто говорил языком мира, где женщину можно было оценить правильно и тем самым сделать ей честь. Она улыбнулась. Почти тепло. Почти честно. Мара, сидевшая у входа, посмотрела на неё и ничего не сказала. Это было тревожнее любого крика. Следующие дни стали длинными. Арэн не возвращался. Эла говорила себе, что не ждёт. Она работала: сушила травы, растирала кору, меняла повязки детям, чинила корзину, слушала Марины истории о людях, которые умерли, потому что думали не тем местом. Она даже смеялась с другими девушками, когда они обсуждали, как Рун пытается выглядеть равнодушным и каждый раз подходит к воде именно тогда, когда Эла стирает там шкуры. Но тело её ждало без разрешения. Вот что было унижительно. Разум мог сказать: чужак ушёл. Разум мог перечислить: Рун надёжен, род доволен, зима близко, очаг нужен, дети будут здоровые, северная тропа опасна. Разум мог быть старше, чем Мара.

Тело было глупее. Оно поднимало голову на каждый хруст ветки. Оно узнавало запах дождя раньше носа. Оно просыпалось ночью за миг до того, как в пещеру входил ветер. Оно помнило чужое имя так, будто имя было не звуком, а теплом, которое не уходило. На четвёртую ночь он вернулся. Без мяса. С огнём. Он стоял у входа, мокрый от тумана, и держал в руках не черепок, а маленькую лампу из камня, грубо выдолбленную, с жиром и тонким фитилём. Пламя в ней было спокойное, жёлтое, почти домашнее. Эла устала на лампу, потому что на него смотреть было опаснее.

— Ты сказал, что вернёшься с другим огнём, — сказала она.

— Я редко говорю лишнее.

— Неправда. Ты сказал, что пришёл за углём.

— Это было хитростью.

— Это было глупостью.

— Глупость тоже хитрость, если работает.

Она закрыла рот ладонью, чтобы не рассмеяться слишком громко. И вот так началось их невозможное. Не с признаний. Не с клятв. Не с того, что он схватил её и увёл под луну, как потом стали бы петь трусливые певцы для женщин, которым хотелось опасности без последствий. Их невозможное началось с лампы. Арэн приходил под предлогами. То менял кремён на травы. То приносил сухожилия для нитей. То спрашивал, как сушить кору, хотя по его лицу было видно, что кору он мог высушить лучше половины её рода. Эла лечила ему ногу, потом плечо, потом маленький порез на ладони, который он явно мог бы пережить без неё.

— Ты издеваешься, — сказала она однажды, обматывая его палец.

— Я ранен.

— Ты оцарапан.

— Боль нельзя мерить твоим презрением.

— Боль можно мерить тем, сколько крови мне пришлось вытирать. Здесь меньше, чем у моей младшей сестры, когда она укусила сама себя, чтобы не делиться ягодами.

— Умная девочка.

— Она трёхлетняя преступница.

— Тем более.

Он умел смешить её так, что смех появлялся раньше решения. Это было нечестно. Эла считала смех самой опасной формой доверия: когда человек смеётся, он на миг перестаёт держать оружие внутри. Но настоящая опасность была не в смехе. Она была в тишине после него. Потому что в тишине они слышали друг друга слишком хорошо. Однажды он пришёл днём, когда остальные ушли к реке. Небо было низкое, белёсое, без солнца. Эла сидела у очага и перебирала травы. Арэн вошёл, увидел, что они одни, и остановился. Так резко, будто наткнулся на копьё.

— Что? — спросила она.

— Ничего.

— Это моё слово.

— У тебя много слов.

— И все полезные.

Он поставил у стены связку тонких веток.

— Для огня.

— Огонь благодарит.

— А ты?

Вопрос был слишком простым. От простых вопросов чаще всего начинались несчастья. Эла посмотрела на него. На мокрые волосы. На красный шнур на запястье. На руки, которые могли убить зверя и при этом держали её травы так осторожно, будто от них зависел порядок мира.

— Я не должна быть благодарна тебе слишком часто, — сказала она.

— Почему?

— Потому что благодарность привязывает.

— А ты не хочешь быть привязанной?

Она усмехнулась.

— Меня уже привязали.

Он понял сразу. Вот что было в нём страшным: ему не нужно было объяснять там, где другие мужчины потребовали бы имена, даты, обещания, доказательства. Арэн просто стал тише.

— Кто?

— Рун.

— Ты хочешь его?

Эла могла бы солгать. Хорошо, правильно, спокойно. В её мире женщины лгали без конца: «я рада», «мне не больно», «он хороший», «я привыкну», «дети важнее», «род знает лучше». Эта ложь держала пещеры теплее огня. Но перед Арэном ложь становилась тяжёлой. Не невозможной. Хуже. Бесполезной.

— Он не плохой, — сказала она.

— Я спросил не это.

— А я ответила на то, на что могу.

Арэн кивнул. Его лицо закрылось. Так захлопывались ловушки.

— Тогда я больше не приду.

Слова были сказаны спокойно. Слишком спокойно. Эла почувствовала, как воздух вышел из пещеры.

— Из-за него?

— Из-за тебя.

Вот так. Просто. Без крика. Без просьбы. Без «выбирай». Он сделал шаг к выходу, и Эла вдруг поняла, что всё её тело сейчас бросится за ним, если она не прикажет себе сидеть. Сидеть. Дышать. Быть разумной. Быть дочерью рода. Быть будущей женщиной Руна. Быть полезной. Быть живой. Но что такое «живой», если внутри тебя в этот момент что-то ложится на землю и скулит?

— Арэн.

Он остановился. Не повернулся.

— Ты трус, — сказала она.

Он медленно обернулся.

— Осторожно.

— Нет. Это ты осторожно. Ты пришёл, зажгёт тут всё, принёс свои ветки, свои раны, свои смешные уловки, а теперь уходишь, потому что я не могу за один вдох порвать то, чем меня связывали всю жизнь.

Его глаза потемнели.

— Я уйду, потому что если останусь, я захочу забрать тебя.

— А спросить меня?

— Ты уже ответила.

— Я сказала, что он не плохой!

— Для тебя это, кажется, достаточно.

Это ударило сильнее, чем должно было. Потому что он был прав — и не прав одновременно. Рун не плохой. Рун надёжный. Рун из мира, где женщина выживет, если будет разумной. Но Арэн был из другого места. Из такого, где выживание без слияния уже казалось разновидностью смерти. Эла поднялась.

— Ты хочешь, чтобы я сказала: забирай меня?

Он смотрел на неё так, будто она подошла к краю обрыва.

— Нет.

— Ты врёшь, — сказал он, и она не стала спорить.

Слово вернулось к ним из первой ночи, и вдруг стало не смешно. Она подошла ближе. Один шаг. Потом второй. Между ними оставалось расстояние в ладонь. Мир опять стал тише. Но теперь в этой тишине было не узнавание, а голод. Не нежный. Не красивый. Древний. Тот самый голод, который заставляет корни искать воду под камнем. Пламя — тянуться к воздуху. Зверя — идти на запах дыма, хотя впереди может быть копьё. Эла не хотела «любви». Она даже не знала, что это слово может значить за пределами песен и обменов между родами. Она хотела перестать быть отдельной. И по тому, как Арэн закрыл глаза на один короткий миг, она поняла: он хочет того же. Именно это было страшно. Если бы он хотел её тело, было бы проще. Если бы хотел победить Руна, было бы понятнее. Если бы хотел взять, украсть, доказать, что сильнее, мир нашёл бы для него имя. Но он хотел войти туда, где она сама себе не принадлежала. И он не просил. Вот почему хотелось самой сделать последний шаг.

И она хотела впустить. За их спинами треснул огонь. Эла подняла руку и коснулась красного шнура на его запястье.

— Откуда он?

— Не знаю.

— Ты носишь вещь, происхождения которой не знаешь?

— Я просыпался с ним после лихорадки, когда был ребёнком. Мать сказала, что это знак, что меня не забрала ночь.

Эла провела пальцем по узлу.

— Ночь часто ошибается.

— Не со всеми.

Он коснулся её светлой пряди у виска. Не лица. Не губ. Осторожно, почти вопросом. И этого оказалось больше, чем поцелуй. У Элы жарко вспыхнули щёки, хотя в пещере было холодно. Она ненавидела своё тело за эту честность. Потому что никто не спрашивал волосы, хотят ли они принадлежать ветру. Никто не спрашивал огонь, хочет ли он гореть. Никто не спрашивал Элу, хочет ли она стать мостом между родами, очагом для чужих детей, полезной женщиной с хорошими травами. А здесь, в этом прикосновении, вопрос был. Она ответила, поднявшись на носки. Арэн не двинулся ей навстречу сразу. Выдержал миг — жестокий, невозможный, слишком взрослый для её смелости. Их губы почти встретились. Снаружи закричали. Они отпрянули одновременно. Крик повторился. Потом ещё один. Не детский. Мужской. Близко. Арэн уже был у входа, копьё в руке. Эла даже не увидела, как он успел взять его. Внизу у реки началась драка. Люди бежали между камнями. Женщины тащили корзины, дети визжали, собаки лаяли. Через дым утренних костров Эла увидела чужие фигуры — не их род, не северные люди Арэна. Третьи. Те, кто приходил, когда запасы становились меньше, а зима ближе.

— Оставайся здесь, — сказал Арэн.

Эла рассмеялась. Он посмотрел на неё как на безумную.

— Ты правда думаешь, что после таких слов я стану послушной?

— Я думаю, что ты умная.

— Это другое.

Он хотел что-то сказать, но снизу взлетел новый крик. На этот раз Эла узнала голос. Рун. Она бросилась к выходу. Арэн поймал её за руку. Не больно. Но крепко. И впервые его защита стала похожа на клетку.

— Пусти.

— Там опасно.

— Там мой род.

— Там люди, которые уже решили твою жизнь без тебя.

— А ты решил её лучше?

Он отпустил её сразу. И именно это было хуже. Эла увидела боль в его лице до того, как он спрятал её. Она сама ударила. Сама попала. И часть её — маленькая, злая, испуганная — обрадовалась, что может причинить ему боль. Значит, он не был сильнее. Значит, она ещё могла защититься. Даже от того, чего хотела больше всего. Они выбежали вместе. Внизу всё распалось на шум. Чужие мужчины пытались увести коз и забрать мешки с сушёным мясом. Их было немного, но они пришли быстро, с каменными топорами и голодными глазами. Голодные люди страшнее злых. Злость можно переждать. Голод идёт до конца. Арэн двигался так, будто родился в драке. Не красиво — правильно. Он не махал копьём, не кричал, не доказывал силу. Он закрывал проходы, сбивал с ног, оттаскивал детей за шкуры, бил туда, где человек переставал быть опасным. Эла впервые увидела его не как мужчину у огня, а как то, чем он был без неё: оружие, которое научилось ходить на двух ногах.

И ей стало страшно. Не за себя. За него. Потому что оружие всегда кто-нибудь подбирает. Рун дрался у берега. У него была кровь на лице, но он держался. Увидев Элу, он крикнул что-то — не приказ, не просьбу, просто её имя. И в этом имени было столько права, что Эла вздрогнула. Арэн тоже услышал. Мгновение. Одно-единственное. Он посмотрел на неё. Она на него. А в это мгновение чужой мужчина поднял каменный топор за спиной Руна. Эла закричала. Арэн метнул копьё. Копьё вошло чужаку под рёбра. Рун обернулся слишком поздно, увидел, что его спас тот, кого он уже почти начал ненавидеть, и лицо его изменилось. Благодарность — унижительное чувство, если приходит от соперника. После драки чужие ушли, оставив двоих мёртвых и одного, который хрипел так долго, что Мара велела детям заткнуть уши. Род собрался у реки, считая украденное, сломанное, раненое. Эла сидела на камне и промывала руку Руна. Он молчал.

Арэн стоял в стороне. Никто не знал, что с ним делать. Он спас их людей. Он убил за них. Он не принадлежал им. Это создавало неудобство, а племена ненавидели неудобства сильнее врагов. К вечеру старшие позвали его к огню. Эла стояла за спиной Мары и чувствовала, как будущее становится тесным. Старший мужчина её рода, Тар, говорил долго. Люди, которые имеют власть, часто говорят долго, чтобы остальные забыли, что решение было принято ещё до разговора. Смысл был прост: Арэн может остаться до зимы. Его копье будет полезно. Его сила будет полезна. Его знание северных троп будет полезно. А весной... Весной Эла уйдёт к Руну. Союз не отменяется. Наоборот. После нападения он нужнее. Род должен укрепиться. Связь с людьми Руна даст им больше рук, больше охотников, больше шкур, больше детей, которые переживут холод. Эла слушала и не чувствовала лица. Рун смотрел в землю.

Арэн смотрел на огонь. Мара смотрела на Элу. И только огонь, как всегда, был честен: он голодал, пока старшие говорили о выживании. Ночью Эла нашла Арэна у верхней тропы. Она знала, что он уйдёт. Он был из тех, кто уходил до того, как его выгонят. Так проще сохранить гордость. Так удобнее потом рассказывать себе, что ты сам выбрал боль. Он стоял спиной к ней, уже с мешком через плечо.

— Ты даже не попрощаешься? — спросила она.

— Ты не свободна.

— А если я скажу, что пойду?

Он повернулся. Луна была слабая, но его лицо она нашла.

— Не говори этого, если скажешь только чтобы наказать их.

— Я не ребёнок.

— Сегодня ты хотела ударить меня словами, потому что я удержал тебя за руку.

Эла открыла рот и закрыла. Вот почему он был опасен. Не потому что мог убить. А потому что видел.

— Ты удержал меня, будто я твоя, — сказала она тише.

— Я знаю.

— И?

— И я ненавижу, что часть меня до сих пор считает это правильным.

Она не ожидала честности. С честностью всегда сложнее спорить. Ложь можно разбить. Честность приходится держать в руках, даже если она режет. Эла подошла ближе. В лунном свете он казался холодным, но от него шло тепло — не очажное, не безопасное. Такое, возле которого хочется остаться и тут же спастись. Она остановилась слишком близко и не отступила.

— Тогда не уходи.

— Если останусь, я буду смотреть, как тебя отдают другому.

— Если уйдёшь, я буду думать, что ты снова решил за меня.

— Снова?

Адам. Слово раскрыло в воздухе тонкую трещину. На краю языка у Элы шевельнулось имя, которое не принадлежало этому мужчине, но почему-то подходило ему страшнее, чем «Арэн». Слово вырвалось само. Они оба замерли. Снова. Откуда оно пришло? Эла не знала. Но ночь вдруг стала больше, чем горы. В ней что-то шевельнулось — не зверь, не ветер, не воспоминание. Скорее эхо: древнее, как свет за закрытыми глазами. Арэн сделал шаг к ней.

— Что это было?

— Ничего.

— Ты врёшь, — сказал он, и она не стала спорить.

И тогда он поцеловал её. Не как мужчина, который берёт. Не как мальчик, который просит. Как человек, который слишком долго держался за край мира и вдруг нашёл вторую руку. Сначала почти осторожно. Потом осторожность сломалась. Эла ответила не губами даже — всем телом, всем страхом, всей злостью, всем голодом. От него пахло дождём, дымом и дорогой, по которой нельзя было возвращаться прежней. Внутри неё что-то распахнулось, и она

почти испугалась, что больше не сможет закрыть. Так, значит, вот что они искали. Не ласку. Не бегство. Не нарушение правил. Слияние. Место, где «я» перестаёт быть маленькой пещерой и становится небом. Они оторвались друг от друга только потому, что где-то внизу залаяла собака. Эла дышала так, будто бежала от пожара. Арэн прижался лбом к её лбу. Его пальцы не держали её, но она чувствовала их у своих плеч так ясно, будто он всё ещё решал, имеет ли право.

— Пойдём, — сказал он.

Всего одно слово. Но в нём были северные тропы, голод, волки, зима, изгнание, свобода, смерть, смех у чужих костров, дети без рода, ночи без защиты, жизнь без разрешения. И ещё — он. Эла закрыла глаза. Она увидела Руна, который не был плохим. Мать, которая пережила троих умерших детей и теперь считала любовь роскошью для сытых. Мару, которая делала вид, что ей всё равно, потому что иначе пришлось бы признать, как страшно отпускать любимых. Маленькую сестру с ягодами за щекой. Род, который связывал её не только верёвками, но и костями. Арэн ждал. Впервые он не тянул. Не решал. Не спасал. Просто ждал. И это почти сломало её.

— Я не могу сегодня, — прошептала она.

Лицо его не изменилось. Вот почему она поняла, что попала в самое больное место.

— Тогда когда?

Вопрос был честный. И невозможный. Потому что у женщин вроде неё не было «когда». У них было «до свадьбы», «после родов», «когда старшие разрешат», «когда младшие вырастут», «когда зима пройдёт», «когда станет легче». У них всегда было время для всех, кроме собственной души.

— Завтра ночью, — сказала она.

Ложь родилась быстро. Слишком быстро. Она почувствовала её вкус сразу: железный, как кровь на языке. Арэн услышал ложь не ушами. Он медленно отпустил её.

— Не обещай того, что хочешь дать только во сне.

— Я приду.

— Лея.

И всё равно тело отозвалось так, будто он наконец назвал её правильно. Это было не её имя. Она не ответила сразу. В его голосе не было злости. Это было хуже. В нём была усталость человека, который уже знал, как звучит конец, но всё ещё надеялся ошибиться. После поцелуя её губы всё ещё помнили его, и это было унижительно: мир рушился, род ждал, Мара могла слышать, а тело хранило одну невозможную секунду как правду. Она схватила его за красный шнур.

— Я приду.

Узел под её пальцами вдруг развязался. Не полностью. Только одна петля ослабла и скользнула по его коже. Оба посмотрели на неё. Красная нитка — тонкая, старая, невозможная — протянулась между его запястьем и её рукой, будто всё это время ждала, когда кто-нибудь наконец потянет. Из темноты над тропой донёсся голос Мары:

— Девочка.

Эла обернулась. Старуха стояла у камня, маленькая, чёрная на фоне слабой луны. В руке у неё был посох. На лице — не гнев. Не удивление. Страх. Настоящий.

— Отойди от него, — сказала Мара.

Арэн повернулся к старухе.

— Почему?

Мара смотрела не на него. На красную нить.

— Потому что ты снова назвал её не тем именем, — прошептала Мара.

— Потому что в старой сказке, — сказала она тише, — два звука, которым ещё не было места ни в одном языке, однажды сожгли небо. А-дам. Ле-а.

Мара смотрела на красную нить, но говорила уже не с Арэном и не с Элой. С кем-то глубже. С тем, что стояло за ними и ждало, пока люди устанут притворяться только людьми. Эла похолодела.

Мара не сказала больше ни слова. И это было хуже крика. У старух вроде неё молчание редко означало пустоту. Оно означало, что слово уже выбрало себе место в чьей-то судьбе и теперь ждёт, когда человек сам подойдёт к нему вплотную. Эла стояла на тропе и чувствовала, как красная нить между её пальцами и запястьем Арэна становится тёплой. Не от тела. Не от огня. От какого-то чужого, невозможного тепла, будто в тонком шнуре прятался уголь, который не хотел гаснуть.

— Мара, — сказала Эла.

Старуха подняла посох.

— Не здесь.

— Ты сказала...

— Я сказала достаточно, чтобы глупые наконец испугались. Для ночи это уже щедрость. Арэн стоял тихо. Слишком тихо. Такие мужчины не становились спокойнее, когда им было страшно. Они становились ровнее. Как натянутая тетива.

— Откуда ты знаешь эти имена? — спросил он.

Мара впервые посмотрела на него прямо.

— А ты откуда знаешь чужую девочку во сне?

Эла резко повернулась к Арэну. Он не отвёл глаз. И именно поэтому она поняла: было. Не признание. Не ложь. Не защита. Просто тень в его лице, короткая и тёмная, как птица над снегом.

— Что ты видел? — спросила она.

— Не знаю.

— Ты врёшь, — сказал он, и она не стала спорить.

Мара коротко, почти довольно хмыкнула.

— Хоть чему-то научились.

Снизу, у пещер, снова залаяла собака. За ней отозвался ребёнок, потом женщина, потом кто-то выругался на козу. Мир продолжал жить так, будто только что не произнёс над ними древний приговор. Эла вдруг возненавидела этот мир за способность не рушиться вместе с ней. Мара подошла ближе и ударила посохом по красной нити. Не сильно. Достаточно, чтобы она выпала из пальцев Элы.

— Вниз, — сказала старуха. — Оба.

— Я ухожу, — сказал Арэн.

— Конечно уходишь. Мужчины всегда уходят в самый удобный миг, чтобы потом называть это судьбой.

Арэн медленно вдохнул. Эла почти улыбнулась. Почти. Если бы ей не было так страшно, она бы, может быть, даже рассмеялась.

— Я не останусь там, где её отдадут другому, — сказал Арэн.

— А её кто спрашивал? — Мара прищурилась. — Ты? Род? Рун? Небо? Все вы одинаковые. Каждый думает, что женщина — это дверь. Кто-то хочет запереть. Кто-то хочет выбить. Никто не спрашивает, куда она сама выходит.

Эла смотрела на старуху и не понимала, хочет обнять её или швырнуть с тропы.

— Ты же сама сказала, что я должна идти к Руну.

— Я сказала, что род хочет, чтобы ты шла к Руну.

— А ты?

Мара посмотрела на красный шнур у ног.

— А я слишком стара, чтобы путать выживание с правдой. И слишком жива, чтобы делать вид, что правда кормит детей зимой.

Вот так она сказала главное. Без красивых слов. Без песен. Без милости. В их мире правда была вещью роскошной. Её можно было держать в руках только сытым. На следующее утро никто не говорил о ночи. Это тоже было законом рода: о самом страшном молчали до тех пор, пока оно не становилось частью быта. Так молчали о выкидышах, о волках, утащивших младшего брата Мары, о девочке, которая ушла за ягодами и вернулась с пустыми глазами, о мужчине, которого нашли весной под ледяной водой с камнем в руке. Если назвать ужас слишком рано, он становился голоднее. Поэтому утром женщины сушили шкуры. Мужчины чинили наконечники. Дети дрались из-за костяной иглы. Рун помогал Тару вытаскивать из реки застрявшую ловушку и ни разу не посмотрел на Элу. Это было почти благородно. И почти хуже ненависти. Арэн остался. Не потому, что его попросили. Не потому, что Эла сказала «останься». Она не сказала. Она теперь вообще говорила мало, потому что каждое слово рисковало стать выбором.

Он остался потому, что Тар дал ему работу: проверить верхние тропы, найти следы третьих людей, поставить новые каменные метки у прохода, где чужаки спустились к реке. Племя не любило чужаков, но племя любило пользу. А Арэн был полезен так очевидно, что это раздражало всех. Он видел след там, где другие видели грязь. Он мог сказать, сколько людей прошло по тропе, по одному сломанному стеблю. Он умел слушать лес. Не как Мара слушала огонь, не как Эла слушала травы. Иначе. Ниже. Тише. Так слушает хищник, которому не нужно доказывать, что он жив. К полудню мальчишки уже бегали за ним, делая вид, что не бегают. К вечеру две женщины попросили его посмотреть сломанный силок. К ночи даже Тар признал, что северный чужак «не совсем бесполезен». У Тара это было почти признание в любви. Эла наблюдала издалека и злилась. Не на Арэна. На себя. Потому что он умел входить в мир, который его не хотел. А она всю жизнь принадлежала миру, который её использовал, и всё равно чувствовала себя в нём чужой.

Вечером Мара велела ей идти собирать кору у старых берёз над оврагом.

— Одной? — спросила Эла.

— Нет, с песнями и танцами. Конечно одной. Если дерево услышит мужской голос, кора станет бесполезной.

— Ты это сейчас придумала.

— Половина мудрости так и появляется.

Эла взяла нож, мешок и пошла. Она знала, что Мара посылает её не за корой. Кора росла ниже. Там, куда могли бы пойти дети. Над оврагом росли старые берёзы, упрямые, с чёрными шрамами на белой коже. Место считалось нехорошим. Там ветер звучал так, будто кто-то разговаривает за твоей спиной, а камни были слишком гладкие — как кости, которые долго лежали в воде. Эла нашла Арэна у первой берёзы. Конечно. Он сидел на корточках, рассматривая след в мокрой земле. Не обернулся.

— Твоя старуха считает себя хитрой.

— Она не считает. Она знает.

— И ты пришла.

— За корой.

— Ты врёшь, — сказал он, и она не стала спорить.

Они оба улыбнулись, и на миг мир стал почти добрым. Потом Арэн поднялся. У него в руке был кусочек красной глины, тёмной, почти бурой.

— Следы тех людей. Они мазали лица перед нападением. Не для красоты.

— Чтобы испугать?

— Чтобы стать не собой.

Эла взяла глину. Потёрла пальцами. Она оставила на коже красную пыль.

— Люди часто хотят стать не собой.

— Ты хочешь?

Вопрос был опасный. Снова простой. Эла посмотрела на свои пальцы.

— Я хочу стать собой, которую никто не обменял заранее.

Арэн молчал. Это было одним из лучших его умений. Он не заполнял чужую правду собой. Она подошла к берёзе и стала снимать кору тонкими полосами. Если резать глубоко, дерево могло заболеть. Мара говорила: «Бери так, чтобы оно не запомнило тебя как врага». Иногда Эла думала, что с людьми надо бы так же. Арэн стоял рядом.

— Сегодня Тар говорил с Руном, — сказал он.

Нож дрогнул. Полоса коры порвалась.

— О чём?

— О весне.

— Весна далеко.

— Для мужчин, которые решают чужую жизнь, весна всегда ближе.

Эла резко повернулась.

— Ты наслаждаешься этим?

— Чем?

— Быть правым там, где мне больно.

Его лицо изменилось. Сразу. Не защищаясь — принимая удар.

— Нет.

— Тогда не говори так, будто я вещь, которую уже положили на чужую полку.

— А разве не положили?

Она ударила его по лицу. Не сильно. Но достаточно, чтобы звук пошёл по оврагу и вернулся к ним чужим эхом. Арэн не двинулся. Только медленно повернул голову обратно. На его скуле остался след её красной глины. Эла увидела его и вдруг поняла: она пометила его как война.

— Я не...

— Хотела? — спросил он тихо.

Она сжала нож.

— Не делай из меня чудовище.

— Я и не делаю.

— Делаешь. В своей голове. Ты смотришь на меня так, будто если я не бегу с тобой сейчас, то я выбираю клетку.

— А ты?

Она рассмеялась. Резко. Без радости.

— Вот! Опять. Ты хочешь простого ответа, чтобы тебе было легче уйти или легче забрать меня. Но у меня нет простого ответа, Арэн. У меня мать, у меня сестра, у меня Мара, у меня род, у меня зима, у меня люди, которые выживут или нет не от песни любви, а от того, сколько у них сушёного мяса. И да, у меня есть Рун, который не плохой. Это не делает его моим сердцем. Но это делает его человеком, которого я не могу просто растоптать, чтобы доказать тебе, что ты важен.

Арэн стоял с красным следом на лице. И впервые казался не оружием. А человеком, которому тоже нечем ответить.

— Ты думаешь, я не знаю про людей, которых нельзя растоптать? — сказал он.

Эла замолчала. Он отвернулся к оврагу.

— У меня была мать. Брат. Маленькая сестра, которая кусала меня за руку, если я приносил ей меньше мёда, чем обещал. Я ушёл не потому, что хотел быть свободным. Я ушёл потому, что если бы остался, убил бы человека, которого нужно было назвать отцом.

Эла не дышала.

— Он бил их?

— Он делал хуже. Он решал, что их боль полезна.

Вот она, первая щель. Щель появилась не в нём, а в её представлении о нём. Она думала: он уходит, потому что свободен. Он выбирает себя, потому что может. А оказалось — свобода у него тоже была шрамом, а не даром.

— Почему ты не забрал их? — спросила она.

Он усмехнулся.

— Потому что мне было пятнадцать зим, копьё было тяжелее меня, а мать сказала: «Уходи хотя бы ты».

Эла опустила нож. Некоторые фразы не требуют плача. Они сами как плач, только без воды. Арэн посмотрел на неё.

— Поэтому, когда я говорю «пойдём», я слышу не только тебя. Я слышу всех, кого не смог увести.

Вот теперь боль стала двусторонней. Не чистой. Не красивой. Настоящей. Эла вдруг поняла, что он хочет слить её с собой не только потому, что она его свет. Но и потому, что тогда он наконец докажет себе: в этот раз он не оставил. А она хочет слиться с ним не только потому, что он её дом. Но и потому, что рядом с ним можно перестать быть полезной и впервые стать живой. Они оба хотели настоящего. И оба тащили к нему старую рану. Ветер с оврага ударил сильнее. Листья берёз зашептали, хотя листьев почти не осталось. Эла подняла руку и провела пальцем по красному следу на его скуле.

— Прости.

— За удар?

— За то, что хотела сделать тебя виноватым, чтобы самой не выбирать.

Он закрыл глаза.

— Не говори так.

— Почему?

— Потому что тогда мне труднее злиться.

Эла всё-таки рассмеялась. Тихо, мокро, почти с болью.

— Бедный охотник. Женщина отняла у него удобную злость.

— Ты вообще опаснее, чем выглядишь.

— Я выгляжу опасно.

— Ты выглядишь как человек, которого все недооценили и теперь будут страдать.

— Вот это уже похоже на правду.

Он улыбнулся. И это было ошибкой. Потому что улыбка сделала его слишком молодым. Не древним голодом. Не оружием. Не судьбой. Просто человеком, который мог бы быть счастливым, если бы мир был менее прозорливым. Эла потянулась к нему. На этот раз первой. Поцелуй начался не как огонь. Как признание поражения. Они не бросились друг к другу. Они вошли друг в друга осторожно, как входят в воду, под которой может быть яма. Его рука легла на её спину, не толкая. Её пальцы нашли его волосы и сжались там так, будто весь мир мог утянуть её обратно, если она не удержится хоть за что-то своё. И мир исчез. Не полностью. Где-то кричала птица. Где-то капала вода. Где-то у корней дерева полз жук. Но всё это стало дальним. Лишним. Как шорохи за стеной дома, где наконец зажгли лампу. Эла поняла страшное: слияние не забирало её. Оно возвращало ей себя. Рядом с ним она не становилась меньше.

Она становилась больше, чем могла быть в одиночку. И именно поэтому это было невыносимо. Потому что как потом вернуться к жизни, где тебя снова делают половиной чужого договора? Арэн отстранился первым.

— Эла.

Земное имя прозвучало правильно. Почти. Она открыла глаза.

— Что?

Он смотрел ей за плечо. У второй берёзы стоял Рун. Никаких криков. Никакой красивой мужской ярости. Только человек, который увидел, как его будущая женщина держит другого

за волосы так, будто без этого погибнет. И в этом была ужасная честность. Рун смотрел на них долго. Потом сказал:

— Теперь я понял, почему она перестала смеяться со мной.

Эла отошла от Арэна. Не потому, что стыдилась. Потому что увидела боль Руна и не смогла сделать вид, что её нет.

— Рун...

— Не говори.

Он поднял руку.

— Если скажешь, что он ничего не значит, я возненавижу тебя за ложь. Если скажешь, что значит, я возненавижу себя за то, что пришёл.

Арэн шагнул вперёд.

— Это не твоё...

— Молчи, — сказал Рун.

Слово было спокойное. И потому сильное. Арэн остановился. Рун посмотрел на него.

— Ты спас мне жизнь у реки. За это я должен тебе мясо, шкуру или право просить помощь. Но не её.

— Она не мясо, чтобы ты отдавал или не отдавал.

— Я знаю.

Арэн не ожидал этого ответа. Эла тоже. Рун сжал челюсть.

— Я знаю лучше тебя. Потому что я вырос в мире, где мне тоже сказали, что женщина укрепит мой дом. А я, как дурак, решил, что если буду добрым, она однажды сама захочет сидеть у моего огня.

Это было так горько и так просто, что Эла почувствовала стыд. Не за любовь к Арэну. За то, что сделала Руна в своей голове грубым препятствием, чтобы легче было не жалеть его. А он стоял перед ними живой, обманутый, хороший настолько, насколько мог быть хорошим человек своего мира. И всё равно неправильный. Рун посмотрел на Элу.

— Ты не хочешь меня.

Она не смогла ответить. Он кивнул, будто она сказала вслух.

— Тогда скажи старшим.

Это было почти великодушно. Почти. Потом он добавил:

— Или не смей смотреть на меня так, будто это я твоя клетка.

И ушёл. Эла стояла между двумя мужчинами и впервые понимала: трагедия не в том, что один хороший, другой плохой. Трагедия в том, что иногда все живые. И всем будет больно. Вечером Рун не пришёл к огню. Это заметили все. Племя было маленьким. В маленьких мирах молчание человека слышно громче, чем крик в большом городе. Тар позвал Элу к старшим после еды. В центре пещеры лежали три вещи: голубая бусина Руна, красная нить Арэна и нож Мары. Нож Мары оказался там самым страшным. Потому что Мара ничего не клала просто так.

— Рун видел, — сказал Тар.

Не вопрос. Эла стояла прямо.

— Да.

— Он сказал, что ты не хочешь его.

— Да.

Шёпот прошёл по людям, как мышь по сухим листьям. Мать Элы закрыла глаза. Мара не шелохнулась. Тар посмотрел на Арэна, который стоял у входа, не внутри круга. Чужой. Всегда на границе.

— Ты хочешь её?

Арэн не стал смотреть на Элу.

— Да.

Одно слово. Без украшений. Без защиты. Без красивых обещаний, которыми можно было бы потом подавиться. У Элы подогнулись колени, но она удержалась. Тар медленно кивнул.

— Желание не кормит род.

— Кормит охота, — сказал Арэн.

— Охотники умирают.

— Все умирают.

— Не все уведут чужих женщин перед зимой.

Арэн улынулся так, что несколько мужчин взяли за копья.

— Она не чужая женщина.

— Не твоя.

— Не вещь.

Тар поднялся. Он был стар, но не слаб. В его теле была власть человека, который видел слишком много зим и теперь считал свои страхи мудростью.

— Вещи легче берегут жизнь, чем желания. Рун дал нам союз. Его люди дадут нам охотников. Его мать даст зерно. Его сестры дадут руки. Их тропа ниже нашей, у них меньше снега. Весной Эла уйдёт к ним. Это решено.

Эла открыла рот. Мара ударила посохом по земле.

— Пусть скажет.

В пещере стало тихо. Тар посмотрел на старуху.

— Женщины уже сказали. Её мать согласна.

— Мать сказала от страха, — ответила Мара. — Страх не всегда говорит правду.

Мать Элы вздрогнула, как от пощёчины.

— А ты бы хотела, чтобы она ушла в лес с чужим? — спросила она. — Чтобы я зимой считала не только мясо, но и дочерей? Чтобы младшие ели кору? Чтобы Рунов род отвернулся? Ты старая, Мара. Тебе легко говорить о правде. Тебе уже не рожать мёртвых детей.

Вот так. Уют, юмор, огонь, травы — всё исчезло. Осталась самая грубая правда женского мира. Мать Элы потеряла троих. Одного в крови. Одного от кашля. Одного весной, когда лёд выглядел крепче, чем был. И с тех пор она не верила в желание. Желание не держало младенца тёплым. Желание не останавливало кашель. Желание не вытаскивало тело из реки. Эла посмотрела на мать и почувствовала, как её собственный гнев ломается о чужое горе. Вот почему мир был так жесток: у каждого правила внутри лежал чей-то мёртвый ребёнок.

— Я не хочу разрушить род, — сказала Эла.

Голос её был тихим. Арэн закрыл глаза. Он услышал конец раньше всех.

— Но я не хочу жить как ремень между двумя древками. Я человек.

Тар хмыкнул.

— Люди тоже служат.

— Тогда я хочу знать, кому.

Мара подняла голову. Эла посмотрела на мать.

— Если я пойду к Руну, вы получите союз. Если я уйду с Арэном, вы потеряете союз. Если я останусь здесь, Рун будет унижен, Арэн будет опасен, а род будет ждать, когда мужчины начнут убивать друг друга из-за моей тени.

— Значит, ты понимаешь, — сказал Тар.

— Да. Я понимаю, что вы все решили задачу так, будто я шкура, которую надо натянуть на самый полезный каркас.

Мара усмехнулась.

— Неплохо.

Эла сделала вдох.

— Я пойду к Руну весной.

Арэн не двинулся. Ни один мускул. И это было страшнее, чем если бы он бросился к ней.

— Но до весны я не принадлежу ему, — сказала она. — И не принадлежу Арэну. И не принадлежу вам. До весны я остаюсь у этого огня и буду лечить, работать, сторожить младших, сушить травы и делать всё, что делала. Но никто больше не будет говорить обо мне так, будто меня уже нет.

Тар хотел ответить. Мара опередила:

— Справедливо.

— Нет, — сказал Тар.

— Тогда бери мой нож и режь ей горло сейчас, — сказала Мара. — Потому что живую ты её уже не заставишь стать мёртвой достаточно тихо.

Слова упали в пещеру камнями. Мать Элы заплакала без звука. Тар смотрел на Мару так, будто впервые вспомнил, почему старых женщин не убивают, даже когда очень хочется. Потому что они уже давно перестали бояться того, чем мужчины управляют. Решение отложили. В племени это считалось победой. Для Элы это было отсрочкой казни. Арэн ушёл к верхним кострам, где ночевали сторожа. Он не посмотрел на неё. И вот это сломало сильнее всего. Потому что когда человек кричит, ты можешь ненавидеть его. Когда молчит — ты начинаешь слышать себя. Ночью Эла пришла к Маре. Старуха сидела у маленького отдельного огня в щели пещеры, где сушились травы. Там всегда пахло горечью, дымом и чем-то ещё — не смертью, нет. Памятью смерти.

— Ты знала, что он будет у берёз, — сказала Эла.

— Конечно.

— Ты знала, что Рун придёт.

— Да.

Эла схватила со стены связку сухой травы и бросила на землю.

— Ты устроила это.

— Я позволила всем увидеть то, что вы собирались прятать до весны. Прятаное гниёт быстрее мяса.

— Ты могла разрушить всё.

— Всё уже было разрушено. Я только убрала шкуру сверху.

Эла тяжело дышала.

— Зачем?

Мара подбросила в огонь тонкую ветку. Пламя стало зелёным на миг.

— Потому что ты собиралась лгать. Ему. Себе. Руну. Матери. Роду. А ложь — плохая верёвка. Кажется мягкой, пока на ней не висит человек.

— Ты говоришь так, будто правда спасёт.

— Нет. Правда редко спасает. Она хотя бы показывает, кто тонет.

Эла села напротив неё. Усталость накрыла внезапно. Не как сон. Как мокрая шкура.

— Что такое эти имена? А-дам. Ле-а?

Мара долго молчала. Слишком долго.

— Не что, — сказала наконец. — Кто.

— Кто?

— Два звука старше языка. Позже люди исказят их тысячу раз, сделают именами, легендами, молитвами и ошибками. Сейчас они просто трещина в голосе мира.

Эла почувствовала, как холод идёт от ступней вверх.

— Ты их придумала.

— Я много чего придумала. Эти — нет.

— Откуда ты знаешь?

Мара посмотрела в огонь.

— Моя мать знала. Её мать знала. А до неё — та, у которой не было матери, только шрам от молнии на груди и глаза, в которых ночами горело два неба. В каждом роду есть кто-то, кто

помнит больше, чем должен. Обычно этот человек становится либо безумным, либо полезным. Мне повезло стать неприятной.

Эла почти улыбнулась. Почти.

— Что они сделали?

— Захотели стать одним.

— И это плохо?

Мара резко посмотрела на неё.

— Нет.

Ответ был таким быстрым, что Эла отшатнулась.

— Плохо, когда голодные называют слиянием то, что на самом деле является страхом. Плохо, когда один хочет войти, чтобы больше не быть брошенным. Плохо, когда другая хочет раствориться, чтобы больше не выбирать. Плохо, когда любовь становится способом не чувствовать свою отдельную боль.

Эла молчала.

— Но само слияние? — Мара посмотрела в огонь мягче. — Нет, девочка. Иногда две вещи созданы не для того, чтобы стоять рядом. Иногда они созданы, чтобы стать третьим.

— Третьим?

— Не он. Не ты. Не клетка. Не бегство. Что-то больше.

Эла почувствовала, как слёзы подходят к глазам. Она не хотела плакать перед Марой. Перед Марой плакать было как лить воду в реку: вроде можно, но смысла мало.

— Тогда почему ты сказала мне отойти от него?

— Потому что вы не хотите стать третьим. Пока нет. Он хочет доказать, что на этот раз не оставит. Ты хочешь доказать, что на этот раз тебя выберут. Это не слияние. Это две боли, которые тянутся друг к другу и надеются стать ответом.

Эла закрыла лицо руками. Мара не утешала. Хорошо, что не утешала. Утешение иногда оскорбляет боль своей торопливостью.

— Что мне делать?

— Для начала перестать ждать, что кто-то назовёт твоё желание правильным.

— Это совет?

— Это предупреждение.

— А разница?

— Совет можно не слушать. Предупреждение потом кусает.

Эла всё-таки рассмеялась. Один раз. И тут же заплакала. Мара сидела напротив, маленькая, жёсткая, страшная, живая.

— Я не хочу к Руну, — сказала Эла.

— Знаю.

— Я хочу к Арэну.

— Знаю.

— Но если я пойду, я стану виновата перед всеми.

— Да.

— А если не пойду, стану виновата перед собой.

— Да.

— Ты могла бы хоть раз сказать что-нибудь легче.

— Могу. Твоя младшая сестра сегодня украла у Тара сушёную сливу и обвинила козу.

Эла всхлипнула и засмеялась сквозь слёзы. Мара довольно кивнула.

— Вот. Жизнь. Она всегда лезет в трагедию с козой.

Наутро выпал первый снег. Не настоящий зимний — тонкий, робкий, почти стыдливый. Он ложился на камни и таял, будто сам не был уверен, имеет ли право приходить. Но для рода это был знак: время ускорилося. Всё, что откладывали «до холодов», теперь стало «сейчас».

Мужчины ушли проверять ловушки. Женщины начали делить сушёное мясо по мешкам. Дети впервые за осень притихли: снег всегда делал мир торжественным даже для тех, кто ещё не понимал, что торжественность чаще всего означает опасность. Рун пришёл к Эле у реки. Один. Она стирала кровь с охотничьей шкуры. Вода была ледяная, пальцы болели, но боль помогала не думать.

— Я не буду требовать тебя, — сказал он.

Она подняла голову. Рун стоял в трёх шагах. Лицо спокойное. Глаза красные от бессонной ночи.

— Это благородно? — спросила она.

Он усмехнулся.

— Я хотел, чтобы звучало так.

— Не получилось.

— Знаю.

Она снова опустила шкуру в воду. Некоторым мужчинам юмор шёл как чужая шкура. Руну он шёл плохо, но он пытался. И это было почти трогательно.

— Я говорил с матерью, — сказал он.

— И?

— Она сказала, что если женщина смотрит на другого мужчину так, будто ищет в нём воздух, брать её в дом — всё равно что строить очаг на льду.

Эла замерла.

— Умная женщина.

— Жестокая.

— Это часто одно и то же.

Рун подошёл ближе, но не слишком.

— Я могу отказаться.

Внутри у Элы что-то ударило один раз. Сильно.

— Правда?

— Да.

Она встала.

— Тогда...

— Но мой род спросит, почему. И твой род спросит. И Тар скажет, что северный чужак развёл между нами гниль. И люди Арэна, если они вообще живы, могут прийти за ним. И третьи люди вернутся, потому что теперь знают нашу тропу. И если зимой умрёт хоть один ребёнок, твоя мать будет знать, что могла получить зерно и руки, но её дочь выбрала мужчину с красивыми глазами и плохой привычкой приносить беду.

Эла медленно села обратно на камень. Вот зачем в хороших людях столько боли: они умеют говорить правду так, что ты не можешь отмахнуться.

— Ты пришёл не отпустить меня, — сказала она.

— Нет. Я пришёл, чтобы ты знала цену.

— И чтобы я осталась от вины?

Он помолчал.

— Да.

Честность снова. Чёрт бы её забрал.

— Я сказал, что не буду требовать, — добавил Рун. — Я не сказал, что не буду хотеть.

Он достал из-за пазухи голубую бусину. Ту самую. Положил на камень между ними.

— Если выберешь его, оставь. Если выберешь род, принеси мне сама. Не через мать. Не через Мару. Сама.

Эла смотрела на бусину. Голубую, маленькую, красивую. Не виноватую.

— Почему ты не злишься сильнее? — спросила она.

Рун улыбнулся криво.

— Злюсь. Просто если начну, мне придётся признать, что я тоже хотел, чтобы ты выбрала меня не потому, что я хороший, а потому что я удобный. А это не такая приятная злость.

И ушёл. Эла осталась у реки с замёрзшими руками, мокрой шкуркой и голубой бусиной, которая весила больше, чем камень. В тот вечер Арэн не пришёл к очагу. На другой день тоже. Он работал на верхних тропах, спал у сторожевого огня, ел с мужчинами, говорил мало. Если Эла подходила, он находил причину уйти. Если она уходила, смотрел ей вслед так, будто каждый шаг был маленькой смертью и он запрещал себе кричать. Она не выдержала на третью ночь. Нашла его у каменной метки над оврагом. Снег уже лёг плотнее. В темноте он казался пеплом, который передумал быть горячим. Арэн точил наконечник.

— Ты избегаешь меня, — сказала она.

— Да.

— Хоть бы соврал для приличия.

— У нас это плохо получается.

Она села напротив. Между ними лежал камень. Хорошо. Камни честнее людей. Камень говорит: я между вами. Попробуйте не заметить.

— Рун может отказаться.

Наконечник остановился.

— Может?

— Да.

— Но?

Эла закрыла глаза.

— Но цена останется.

— Цена всегда остаётся.

— Не говори как Мара. Один человек с вечной усталостью в моей жизни уже достаточно. Он посмотрел на неё. И в его взгляде впервые за эти дни что-то дрогнуло.

— Я не хочу, чтобы ты выбрала меня из ненависти к ним.

— А из чего можно?

— Из себя.

Она усмехнулась.

— Красиво. Скажи это женщине, которой с детства объясняли, что «себя» надо отдавать частями: матери — руки, роду — детей, мужу — тело, старшим — молчание, младшим — последнюю ягоду.

— Тогда оставь одну часть.

— Какую?

Он отложил наконечник.

— Ту, которая говорит мне правду.

Эла смотрела на него долго. Потом сказала:

— Я хочу с тобой.

Он не двинулся.

— Не как бегство, — добавила она. — Не чтобы наказать Руна. Не чтобы доказать старшим. Не чтобы стать красивой песней у чужого костра. Я хочу с тобой, потому что рядом с тобой я впервые чувствую, что внутри меня не пещера, а небо. И это не твоя заслуга. И не моя вина. Это просто правда.

Арэн поднялся так резко, что снег слетел с камня.

— Не говори дальше, если останешься.

— Я не знаю, останусь ли.

— Тогда зачем ты пришла?

— Потому что ты попросил правду.

Он отвернулся. И вот это было почти смешно: мужчина, который не боялся крови, следов, чужих топоров и зимы, боялся женской правды так, будто она могла разорвать ему грудь.

— Арэн.

— Если я тебя сейчас коснусь, — сказал он, не поворачиваясь, — я снова попрошу идти. А если снова попрошу, то уже не буду таким благородным, как вчера.

— Ты не был благородным. Ты был испуганным.

Он рассмеялся коротко.

— Опасная женщина.

— Ты уже говорил.

— Видимо, плохо дошло.

Она подошла сзади и положила ладонь ему между лопаток. Он замер. Такое маленькое касание. Почти ничего. Но между ними опять открылось то место, где мир становился беззвучным. Снег падал. Лес стоял. Где-то внизу дышало племя. А здесь были только его спина под её рукой и её ладонь, которая вдруг стала всем, что он мог выдержать.

— Я не прошу тебя быть благородным, — сказала она. — Я прошу не делать мой выбор вместо меня.

Он накрыл её руку своей.

— Тогда выбирай.

Стрела. Точная. Без милости. Эла поняла: иногда любовь не умоляет. Иногда она просто ставит перед тобой твою собственную дверь и отходит, чтобы ты не могла обвинить никого, когда не войдёшь. Она хотела сказать: «Сейчас». Но снизу раздался крик. Не тревога. Не нападение. Женский крик, короткий, рваный, полный такого страха, от которого у Элы кровь ушла из пальцев. Она сорвалась вниз первой. Младшая сестра лежала у очага. Маленькая, горячая, мокрая от пота, с губами, уже посиневшими по краям. Мать держала её на руках и качала, хотя ребёнок был слишком большой для такого качания. Мара стояла рядом, нюхала воздух у её рта и была белее снега.

— Что? — спросила Эла.

Никто не ответил. Она сама поняла по запаху. Гниль внутри дыхания. Плохой кашель. Тот, который не уходил от мёда и горячих камней. Тот, после которого матери начинали говорить с богами даже если вчера уверяли, что богам нет дела до детских лёгких. Арэн вошёл следом, остановился у входа. Мать Элы подняла глаза. И в этих глазах было всё, чего Эла боялась больше смерти. Не обвинение. Надежда.

— Ты знаешь травы, — сказала мать.

Эла опустила на колени. Да. Она знала травы. И уже по первому хрипу понимала: ей понадобится не только трава. Ей понадобится мясной отвар, тепло, сухие шкуры, покой, люди, которые будут дежурить, зерно, если девочка выживет после лихорадки, и род, который не развалится от её выбора. Рун стоял у стены. Он тоже понял. Медленно, без слова, он снял с плеча мешок. В нём было зерно. Немного. Но для зимы — почти чудо.

— Мать дала, — сказал он. — Сказала, что ребёнок не должен ждать, пока взрослые решат, кому принадлежит женщина.

Эла посмотрела на мешок. Потом на Арэна. Потом на сестру. И впервые за всё время красная нить между ней и Арэном не потянула её к нему. Она натянулась поперёк дыхания. Как запрет. Мара, стоявшая у огня, прошептала так тихо, что услышала только Эла:

— Вот теперь начинается настоящее испытание.

Эла взяла мешок с зерном у Руна. Арэн увидел. И ничего не сказал. Но в эту ночь, пока ребёнок хрипел у очага, а снег заваливал верхнюю тропу, Эла впервые поняла: иногда человека предают не в миг, когда выбирают другого. Иногда его предают в миг, когда делают правильное. Цена правильного выбора.

Дети перестают плакать не тогда, когда им становится легче. Иногда они перестают, когда больше не хватает сил звать живых. Эла поняла это на рассвете, когда младшая сестра перестала хныкать у груди матери и просто открыла глаза. Большие, сухие, слишком взрослые для ребёнка, который ещё вчера умел радоваться куску сушёной ягоды так, будто ему подарили целую весну. Ниму знали все: за то, что она кусала сама себя, если у неё пытались забрать еду; за то, что однажды спрятала в волосах полжмени орехов и ходила с ними гордо, пока белка не решила, что девочка — дерево; за то, что звала Мару «старая ворона» и при этом спала у неё под боком в самые холодные ночи.

Теперь Нима не ругалась. Не кусалась. Не торговалась с миром. Она лежала на шкуре у очага, маленькая и горячая, как камень, который слишком долго держали в огне.

— Не смотри на неё так, — сказала Мара.

Эла подняла глаза. Старуха сидела рядом, растирая в каменной чаше сухую кору. Её пальцы были кривыми, но точными. Руки Мары всегда напоминали Эле корни: уродливые сверху, живые там, где другие давно бы высохли.

— Как? — спросила Эла.

— Как будто уже прощаешься.

Эла хотела ответить резко. Что-то злое. Что-то такое, чтобы Мара нахмурилась, мать ахнула, а сама Эла почувствовала, что ещё может ударить словами. Но Нима тихо вдохнула, и весь гнев стал бесполезным. Гнев хорошо горит, когда есть воздух. В пещере воздуха не было. Только дым, мокрые шкуры, тяжёлый запах болезни и то невыносимое молчание взрослых, когда каждый уже думает о худшем, но никто не хочет первым дать ему имя.

— Это от холода? — спросила Эла.

Мара не ответила сразу. Плохой знак. Старые люди отвечали быстро только на то, что не имело значения. На важное они сначала слушали не вопрос, а то, что стоит за ним.

— От холода, от мокрой земли, от испуга, от плохой воды, от того, что вчера дети ели корень, который я велела не трогать, от того, что мир большой и ему всё равно, кого ты любишь, — сказала Мара. — Выбирай причину, если тебе от причины легче.

— Мне легче от того, что можно сделать.

— Тогда принеси сухой мох. И перестань дрожать. Твои руки нужны мне для дела, не для красивой скорби.

Эла поднялась. У входа в пещеру стоял Рун. Он не вошёл. В этом было что-то правильное и страшное. Правильное — потому что он не был из их родного очага и не имел права смотреть на боль ребёнка без приглашения. Страшное — потому что за его спиной висел кожаный мешок, тяжёлый, набитый так, что ремень впивался ему в плечо. Человек не приносит полный мешок просто так. Он приносит его как ответ. И как цену. Рун увидел Элу и на миг стал мальчишкой, который впервые не знает, куда деть руки. Потом вспомнил, что он уже почти мужчина, почти муж, почти тот, кому скоро разрешат говорить с ней не как с девушкой чужого очага, а как с женщиной, которую ему обещали.

— Моя мать прислала зерно, — сказал он.

Эла молчала. Слова «моя мать» в его устах были не просто словами. За ними стояла другая пещера, другой очаг, другие женщины, которые уже считали, сколько детей родит Эла, сколько шкур она обработает, сколько зим переживёт, если будет послушной, крепкой и не слишком задумчивой.

— Немного, — добавил Рун. — Но для ребёнка сварят жидко. Если возьмёте.

«Если возьмёте» было вежливостью. Все знали, что возьмут. Голод делает гордость смешной. Болезнь делает её преступной. Эла взяла мешок обеими руками. Он оказался тяжелее, чем она ожидала. Теплее тоже: зерно хранило тепло Руновой спины.

— Спасибо, — сказала она.

Рун кивнул. Он смотрел не торжествующе. И это было хуже. Если бы он пришёл покупать её этим мешком, она бы возненавидела его легче. Но в его лице было беспокойство. Настоящее. Некрасивое. Неловкое. Он пришёл, потому что Нима могла умереть, а он не хотел, чтобы ребёнок умер. И всё равно мешок изменил всё. У входа ниже по склону стоял Арэн. Эла увидела его не сразу. Он был так неподвижен, что сливался с мокрым камнем и тенью. На плече у него висел лук, в руке — перевязанный пучок сухожилий, которые он, наверное, снова принёс «просто так». Его лицо ничего не выражало. Вот чем Арэн умел пугать сильнее крика. Когда ему было больно, он становился полезным.

— Хорошее зерно, — сказал он.

Рун повернулся. Между ними встала утренняя тишина. Не пустая. Полная мужского счета: кто сильнее, кто нужнее, кто имеет право стоять ближе к женщине, кто спас кого вчера, кто принес еду сегодня. Эла вдруг ненавидела обоих. Не потому что они были плохими. Потому что каждый из них стал правдой, которую нельзя отбросить.

— Твоё? — спросил Арэн.

— Моего рода, — ответил Рун.

— Значит, не твоё.

Рун чуть улыбнулся. Без радости.

— Ты тоже вчера дрался не только своим копьём. Чужая пещера, чужие дети, чужой очаг. Но стоял так, будто всё твоё.

Мара тихо хмыкнула изнутри.

— Наконец-то мальчики нашли друг друга, — сказала она. — Можно начинать зиму.

Эла резко вдохнула, чтобы не рассмеяться. Арэн посмотрел на неё. На этот раз в его глазах мелькнула почти улыбка. Едва заметная. Меньше искры. Но Эла увидела. И на одно мгновение ей стало тепло. Потом Нима закашлялась. Мир вернулся. К полудню пещера пахла варёным зерном, дымом и страхом. Жидкая похлёбка для Нимы вышла серой, почти без вкуса. Мать держала девочку на коленях, Эла подносила к губам маленькую костяную ложку, а Мара сидела рядом и следила, чтобы ребёнок не захлебнулся. Нима проглотила три ложки. На четвёртой её вырвало. Мать издала звук, который не был плачем. Плач ещё верит, что его услышат. Это был звук человека, который на миг увидел пустое место там, где вчера был ребёнок.

— Ей нужна белая кора, — сказала Мара.

Эла подняла голову.

— У нас нет.

— Я знаю.

— Где взять?

Мара посмотрела на вход. Туда, где уже стояли мужчины, как всегда стояли мужчины, когда слышали слово «надо», но ещё не знали, кому придётся идти.

— Внизу, у старой воды, — сказала Мара. — Там, где ивы держат берег. Если его не смыло после дождя.

Тар, старший рода, нахмурился.

— Нижняя тропа опасна.

— Болезнь тоже не домашняя коза, — ответила Мара.

— Там могут быть те, кто напал вчера.

— Могут.

— И волки.

— Волки хотя бы честные. Не называют совет страхом.

Кто-то из женщин фыркнул. Тар сделал вид, что не услышал. У власти всегда плохой слух на смешное, если смеются над ней. Рун шагнул вперёд первым.

— Я пойду.

Эла не успела ничего почувствовать. Арэн сказал:

— Я тоже.

Теперь почувствовала. Холод, как если бы кто-то приложил к её спине мокрый камень.

— Нет, — сказала она.

Все посмотрели на неё. Слишком быстро. Слишком внимательно. Женщина могла кричать над больным ребёнком, могла ругать травы, могла плакать над пустым мешком. Но слово «нет», сказанное двум мужчинам перед старшими, уже было не плачем. Оно было попыткой иметь власть. Такие попытки род не любил.

— Почему? — спросил Тар.

Эла могла бы сказать: потому что один из них обещан мне, а второй держит моё дыхание в своих руках, и если нижняя тропа заберёт их обоих, я останусь живой только снаружи. Но такое не говорили при огне.

— Потому что если нападут снова, пещере нужны копыя, — сказала она.

Арэн почти незаметно склонил голову. Он понял ложь. И, кажется, был благодарен за неё. Рун понял только половину. Ему хватило.

— Моё копьё нужно Ниме больше, чем пещере, — сказал он.

Это было красиво. Несправедливо красиво. Эла захотела ударить его за это.

— Пойдём вдвоём, — сказал Арэн. — Быстрее вернёмся.

— Или быстрее умрёте, — сказала Мара.

— Тогда вы сможете сказать, что предупреждали, — ответил Арэн.

— Я и живым скажу. Не жди смерти ради моего удовольствия.

Рун впервые усмехнулся Арэну не как врагу.

— Она всегда такая?

— Хуже, — сказала Эла.

— Лучше, — сказала Мара одновременно.

На миг все четверо оказались почти семьёй. Вот такие мгновения были самыми жестокими: они показывали жизнь, которая могла бы быть, если бы желания людей не дрались за один и тот же очаг. Мужчины ушли до заката. Рун нёс кожаный мешок для коры и короткий топор. Арэн нёс лук, копьё и молчание. У нижней тропы они не попрощались с Элой одинаково. Рун сказал:

— Я вернусь.

Так говорят люди, которые считают возвращение частью договора. Арэн сказал:

— Держи огонь низким, если ветер повернёт.

Так говорят люди, которые боятся сказать: жди меня. Эла ответила обоим одним кивком. И оба ушли недовольными. Это, подумала она, было почти справедливо. Ночь спустилась рано. Ветер после дождя всегда приходил как вор: сначала тихо трогал шкуры у входа, потом забирался под них, потом садился людям на грудь и напоминал, что камень не дом, а просто твёрдая часть мира, которая временно согласилась тебя укрыть. Эла сидела у Нимы и перебирала в пальцах голубую бусину Руна. Она ненавидела эту бусину. Не за красоту. За смысл. Рун подарил ей не украшение, а место в мире. Понятное, безопасное, оплачиваемое зерном, копиями, будущими детьми и тем спокойствием, которое старшие называли счастьем, потому что сами никогда не пробовали ничего другого. Арэн подарил ей лампу. Маленький каменный огонь, который можно было нести в руках. Один дар говорил: останься, и выживешь.

Другой говорил: пойдём, и увидим, кто ты без стен. Нима застонала. Эла сразу бросила бусину.

— Тихо, маленькая, — прошептала она. — Тихо. Ты ещё не съела все ягоды в мире. Тебе нельзя уходить, пока я не отомщу за свои.

Нима не улыбнулась. Мара, сидевшая напротив, подбросила в огонь тонкую ветку.

— Смеси её сильнее. Смерть любит серьёзных. С ними меньше возни.

— Ты когда-нибудь говоришь что-то доброе?

— Постоянно. Просто у тебя слух избалован надеждой.

Эла посмотрела на старуху.

— Что ты видела тогда?

Мара не спросила «когда». Значит, поняла.

— Вчера? У тропы?

— Когда сказала, что мы сожгли небо.

Огонь тихо щёлкнул. Мара долго молчала. За это время Нима успела уснуть, мать — задремать у стены, а ветер — поменять голос и стать ниже. Снаружи кто-то из мужчин кашлянул. Потом снова тишина.

— Есть имена для людей, — сказала Мара наконец. — Их дают матери, старшие, иногда глупые отцы, если женщина слишком устала спорить. Эти имена нужны, чтобы позвать к еде, к работе, к брачному очагу, к могиле.

Эла не двигалась.

— А есть другие.

— Другие?

— Те, которыми тебя зовёт то, что было до матери.

По спине Элы прошёл холод.

— До матери ничего не было.

— Это удобная мысль. Люди любят думать, что мир начался вместе с их первым криком.

Особенно мужчины.

Эла сжала край шкуры.

— Ты знаешь имя Арэна?

— Его земное имя я слышу каждый раз, когда ты пытаешься не произнести его.

— Мара.

— Не шипи. Змеи делают это лучше.

— Ты знаешь другое?

Старуха подняла глаза. В них не было привычной насмешки. Это испугало сильнее любого ответа.

— Я слышала два имени, когда была моложе тебя, — сказала Мара. — Тогда я решила, что это голоса в жару. Потом услышала их у женщины, которая умирала после родов. Потом у мужчины, который всю жизнь боялся воды и всё равно утонул, спасая девочку. Потом во сне, где горело не дерево, а тьма. И вчера — снова.

— Какие имена?

Мара посмотрела на Ниму.

— Не сейчас.

— Какие?

— Девочка.

— Я не ребёнок.

— Вот именно поэтому тебе нельзя дать нож, пока ты дрожишь.

Эла хотела вскочить, но Нима пошевелилась, и она осталась. Мара наклонилась ближе.

— Скажи мне правду. Когда он касается тебя, ты хочешь его? Или хочешь исчезнуть в нём?

Эла замерла. Вопрос был непристойнее, чем если бы старуха спросила, где именно Арэн держал её рукой. В их мире тело обсуждали проще: кто с кем спал, кто от кого понёс, кто кому принадлежит. Но то, что спросила Мара, было глубже тела. И опаснее.

— Я не знаю, — сказала Эла.

— Знаешь.

Эла посмотрела в огонь. Пламя было низким, как сказал Арэн. Правильно низким. Послушным. Полезным.

— Когда он рядом, — сказала она, — я перестаю быть отдельной.

Мара закрыла глаза. Не как человек, который услышал дурное. Как человек, который услышал то, чего боялся.

— Вот почему я сказала отойти.

— Ты думаешь, это зло?

— Я думаю, что голод не становится добрым только потому, что он настоящий.

Эла отшатнулась.

— Он не голод.

— Тогда почему ты выглядишь так, будто без него умрёшь, хотя ещё дышишь?

Эла почувствовала, как на глаза выступили слёзы. От злости, не от слабости. По крайней мере, она хотела так думать.

— Ты ничего не понимаешь.

— Надеюсь, — сказала Мара. — Потому что если понимаю, нам всем будет хуже.

В ту же секунду снаружи закричали. Не женщина. Не ребёнок. Мужчина. Крик сорвался быстро, будто его отрезали. Эла вскочила. Мара схватила её за запястье.

— Останься.

— Нет.

— Если это они, ты ничем не сможешь.

— Если это они, я не останусь ждать у огня.

— Именно это и делают живые, когда мёртвые уже выбрали своё.

Эла вырвала руку. У входа уже поднимались мужчины. Тар взял копье, другой схватил каменный топор, кто-то разбудил собак. Ветер принёс запах сырой земли и чего-то резкого — крови или страха, Эла не разобрала. Она выбежала наружу. Луна пряталась за облаками. Нижняя тропа была тёмной, как раскрытая пасть. Собаки залаяли вниз по склону. Потом из темноты появился Рун. Один. Он шёл медленно, шатаясь, таща за собой мешок. Лицо его было белым от боли, на правом боку темнела кровь. Но мешок он держал обеими руками, как ребёнка. Эла увидела всё сразу. Кору. Кровь. Пустую тропу за ним.

— Где Арэн? — спросила она.

Рун поднял глаза. В них не было победы. Только усталость и то ужасное знание, которое делает человека старше за одну ночь.

— Он остался, — сказал Рун.

Эла не поняла.

— Где?

Рун сглотнул.

— Там, где тропа ушла вниз.

Слова были слишком маленькими для того, что они несли. Эла сделала шаг к нему.

— Он жив?

Рун хотел ответить. Не смог. И вот тогда мешок с белой корой выпал из его рук на землю. На кожаном ремне, которым он был перевязан, была завязана красная нить Арэна. Никакой человек не успел бы снять её просто так. Никакой живой человек не отдал бы её, если бы собирался вернуться с прежним именем. Эла услышала, как за её спиной Мара прошептала:

— Адам.

Рун поднял голову.

— Кто?

Но Эла уже бежала вниз, туда, где тропа исчезала в темноте. И впервые огонь в пещере погас сам.

Место падения

Здесь пахло не смертью. Это было хуже. Смерть в горах имела честный запах: кровь, тёплую землю, разорванную шкуру, мокрую шерсть, дым погребального костра. Смерть не пряталась. Она приходила, садилась рядом и смотрела всем в лицо, пока люди делали вид, что ещё могут спорить с ней. А здесь пахло отсутствием. Эла бежала вниз по тропе так быстро, что камни били её в ступни через мягкую кожу обуви. Воздух резал дыхание. Ветер нёс колючий снег, хотя снег ещё не должен был идти так низко. Луна пряталась за облаками, и мир вокруг стал не ночным, а слепым: всё было рядом, но ничему нельзя было доверять. За спиной кричали. Кто-то звал её земным именем. Эла не обернулась. Если бы её звали правильно, она бы, наверное, остановилась. Но никто не знал, как её зовут.

Никто, кроме старухи, которая видела слишком много. И того, кто ушёл вниз по тропе с красной нитью на запястье и не вернулся. Она перепрыгнула через корень, поскользнулась, ударилась коленом о камень и не почувствовала боли. Боль была где-то выше тела. Она поднималась, как дым, и мешала дышать. «Он остался», — сказал Рун. Люди говорили так о костре, который ещё тлел. О шкуре, которую забыли на снегу. О старике, который не мог идти дальше. Не об Арэне. Арэн не оставался. Арэн входил в опасность так, будто она задолжала ему имя. Эла добежала до поворота, где нижняя тропа резко уходила между двумя чёрными скалами. Там ветер всегда звучал иначе: не дул, а стонал, словно гора помнила каждое тело, которое когда-то сорвалось вниз. В детстве их пугали этим местом. Мара говорила, что под скалами живут не духи мёртвых, а голодные слова — те, которые люди не успели сказать.

Эла тогда смеялась. Теперь она поняла, почему старуха никогда не смеялась в ответ. На первом камне была кровь. Не много. Не как после удара копья. Не как после зверя. Тонкая полоса, будто кто-то провёл пальцем по мокрой серой коже земли. Эла остановилась так резко, что дыхание ударило в зубы. Она присела. Коснулась крови. Холодная. Значит, не сейчас. Значит, давно. Значит, она опоздала. Нет. Это слово внутри неё было не мыслью, а рыком. Оно пришло не из головы. Голова уже начала понимать, что кровь холодная, тропа пустая, ремень с красной нитью был у Руна, а в мире не случается чудес только потому, что женщина не успела проститься. Но тело Элы отказалось. Тело знало другое. Тело помнило, как его ладонь однажды закрыла ей рот в темноте, не чтобы заставить молчать, а чтобы они оба услышали шаги зверя. Помнило, как он снимал с её плеч чужой плащ так осторожно, будто снимал вину. Помнило, как рядом с ним становилось тише. Помнило, как его имя — не земное, нет, не Арэн — поднималось в ней как жар изнутри.

Адам. Она не сказала это вслух. Сказать значило признать, что Мара была права. Сказать значило признать, что Эла не просто потеряла мужчину. Она потеряла звук, на который отзывалась её кровь. Скала справа была разбита. На её сером боку остался след удара — камень свежий, светлый, как кость под мясом. Ниже валялась деревянная рукоять от копья. Не Арэна. У Арэна рукоять была тёмная, обмотанная сухожилием оленя. Эта была чужая, грубая, плохо обработанная, с вырезанным знаком трёх зубов. Эла знала этот знак. Не так, как знают песню или лицо. Так, как знают запах волка у входа в пещеру. Нижние люди. Те, кто приходил не менять соль на шкуры, а брать, пока можно брать. Их женщины носили костяные подвески из птичьих лап, мужчины красили волосы глиной, а дети умели молчать ещё до того, как начинали говорить. Про них говорили мало, потому что страх любит короткие истории.

Они пришли за зерном. Или за корой. Или за женщинами. Или просто потому, что зима всегда учит голодных людей считать чужую жизнь легче своей. Эла поднялась. Впереди, у края обрыва, снег был вытоптан. Не падение. Борьба. Она увидела следы: две пары ног скользнули к краю, одна упёрлась пяткой в камень, другая рванула в сторону. Кто-то тяжёлый упал на колено. Кто-то маленький — нет, не маленький, раненый — полз к тропе. Рун. Его кровь шла в

сторону подъёма, туда, откуда он вернулся. А след Арэна... Эла пошла на четвереньках, потому что так легче было видеть землю. Светлые волосы падали на лицо, мешали, липли к губам; она отбрасывала их грязной рукой и смотрела, смотрела, смотрела, пока не увидела. След Арэна не ушёл вниз. Он ушёл в сторону. К узкой козьей полке, которую никто из рода не использовал зимой, потому что там даже горные козлы думали перед тем, как поставить ногу.

Эла замерла. Внутри ударило так сильно, что ей показалось, будто гора услышала. Он не упал. Он ушёл. Нет. Его увели. Или он повёл. Это было хуже надежды. Потому что мёртвого можно оплакать. Живого, который исчез в зубах горы, нужно искать — даже если весь род назовёт тебя безумной. Позади хрустнул камень. Эла схватила обломок копья и развернулась. Рун стоял в нескольких шагах от неё, держась рукой за бок. Он был белее снега. На его лице пот застыл блестящими полосами. Он пришёл за ней, хотя должен был лежать у огня и позволять женщинам зашивать его рану. Эла подняла обломок.

— Ты сказал, он остался.

Рун посмотрел на копьё в её руках. Потом на кровь на камне. Потом на узкую полку, куда уходили следы. Он слишком долго молчал. Иногда молчание виновнее слова.

— Он остался, — повторил Рун.

— Лжец.

Слово ударило между ними так резко, что даже ветер будто отступил. Рун не разозлился. Это было худшее. Если бы он разозлился, Эле стало бы легче ненавидеть его. Он только прикрыл глаза.

— Да.

Эла не ожидала честности. Люди часто ждут правду, но когда она приходит, им хочется, чтобы она опоздала.

— Что ты сделал? — спросила она.

Рун рассмеялся. Коротко, хрипло, страшно.

— Я? Я хотел жить.

И вот это было так честно, что Эла едва не ударила его.

— Он отдал тебе нить.

— Нет.

— Она была на твоём ремне.

— Он завязал её сам.

Эла шагнула ближе.

— Зачем?

Рун посмотрел вниз, туда, где узкая полка исчезала в темноте.

— Чтобы ты пошла за мной, а не за ним.

Эла не поняла сразу. Слова были слишком простые. В них не помещалась вся жестокость.

— Что?

— Он знал, что если я вернусь с пустыми руками, ты побежишь вниз. Если я вернусь с корой, ты всё равно побежишь вниз. Если я вернусь с его нитью... — Рун сглотнул. — Он сказал, ты сначала увидишь Ниму.

Эла ударила его. Не копьём. Ладонью. По лицу. Рун даже не отшатнулся. Только голова его чуть повернулась, и на губе появилась кровь.

— Он не имел права решать за меня.

— Да, — сказал Рун.

— И ты не имел права брать.

— Да.

— Почему ты взял?

Рун наконец посмотрел на неё так, как раньше никогда не смотрел. Не как на женщину, которую ему обещали. Не как на цену зерна. Не как на красивую вещь, за которую можно

спорить с другим мужчиной. Как на человека, которому он собирался сказать то, что не простит себе даже после смерти.

— Потому что я не такой, как он.

Эла замолчала. Рун вытер кровь с губы тыльной стороной ладони.

— Он повернулся к ним, когда я уже не мог держать копьё. Один ударил меня в бок. Я упал. Кора рассыпалась. Мешок порвался. Я... — Он вдохнул так резко, что лицо перекошилось от боли. — Я пополз за корой, Эла. Не за ним. За корой. Потому что если Нима умрёт, ты будешь смотреть на меня так, как сейчас. Только навсегда.

Он сказал это не как оправдание. Как признание своей малости. И поэтому оно попало в неё сильнее.

— Он крикнул мне взять мешок. Я не мог подняться. Тогда он поднял меня. Он поднял меня, понимаешь? После всего, что я говорил ему. После всего, что хотел отнять. Он поднял меня и толкнул вверх. Я сказал, что не уйду.

— И ушёл.

— Да.

Рун снова посмотрел вниз.

— Потому что он сказал твоё имя.

У Элы внутри всё оборвалось.

— Моё?

— Не Эла.

Ветер прошёл между ними и понёс снег по камню, будто пытался стереть следы, пока они ещё не поняли, как читать их правильно.

— Какое? — спросила она.

Рун покачал головой.

— Я не запомнил.

Эла почти рассмеялась. Конечно. Мир всегда запоминал не то.

— Лея? — сказала она сама.

Слово вышло тихо. Но гора ответила эхом. Не настоящим эхом — слишком мало звука, слишком много ветра. Но Эла услышала, как где-то внизу, в темноте, камни повторили: Лея. Рун побледнел ещё сильнее.

— Не говори так.

— Почему?

— Потому что, когда он сказал это, те люди остановились.

Эла медленно опустила обломок копья.

— Кто остановился?

— Нижние.

— Они поняли слово?

— Нет.

— Тогда почему?

Рун сжал зубы.

— Потому что оно прозвучало так, будто не принадлежало нашему миру.

Они оба стояли молча. Снизу потянуло холодом. Где-то далеко завыл волк. Нет. Не волк. Человек. Эла бросилась к краю. Рун схватил её за плечо.

— Не туда.

— Убери руку.

— Там нет тропы.

— Его следы туда ушли.

— Его следы ушли туда, чтобы ты не пошла туда.

Она развернулась.

— Ты теперь будешь говорить мне, чего он хотел?

— Нет. Я буду говорить, где ты умрёшь, если сделаешь ещё два шага.

Она ненавидела его за это. Ненавидела больше, потому что он был прав. Узкая полка уходила в темноту под углом, где даже днём нужно было держаться за камень обеими руками. Ночью, после снега, с ветром в спину, с коленом, которое уже начинало болеть, Эла не дошла бы и до второго изгиба. Но внизу мог быть Арэн. И если он был жив, каждая секунда, в которую она стояла, была предательством. Если он был мёртв, каждая секунда была последней возможностью любить его живым.

— Нима, — сказал Рун.

Одно слово. Не приказ. Не просьба. Клинок. Эла закрыла глаза. Нима лежала у огня, маленькая, горячая, с губами, которые уже посинели. Белая кора была там, наверху. Мара ждала. Мать плакала без звука, потому что уставшие женщины плачут внутрь себя, чтобы не пугать детей. Арэн знал это. Арэн знал, что Эла вернётся к ребёнку, если он оставит ей достаточно боли и достаточно вины. Он знал её слишком хорошо. Вот что было невыносимо. Не то, что он мог умереть. А то, что даже исчезая, он сумел коснуться самого живого в ней и заставить её сделать правильное.

— Я вернусь, — сказала Эла в темноту.

Рун ничего не ответил. Эла наклонилась и подняла с земли чужую рукоять с тремя зубами.

— Зачем?

— Чтобы помнить, кого искать.

— Если они взяли его, они не оставят его живым.

— Ты не знаешь.

— Знаю нижних людей.

— А я знаю его.

Рун посмотрел на неё. В этот раз в его взгляде была не ревность. Страх.

— Вот этого я и боюсь.

*** Кора пахла горечью. Не травой. Не деревом. Не землёй. Она пахла так, как пахнут вещи, которые должны спасти и поэтому имеют право быть отвратительными. Мара растирала белую кору между двумя плоскими камнями. Её руки дрожали, но не от старости. От спешки. Старуха не любила спешить. Она говорила, что спешат только те, кто поздно понял правду. В ту ночь она молчала и растирала кору так яростно, будто хотела стереть с мира самую необходимость выбора. Нима лежала у огня. Огонь горел плохо. Это заметили все. После того как Эла убежала вниз, пламя в пещере погасло почти до чёрных углей. Мужчины принесли сухую траву, женщины подбрасывали ветки, мальчик Тар дул так сильно, что у него закружилась голова. Огонь вспыхивал, лизал дерево и снова оседал. Будто ждал кого-то другого. Эла вошла в пещеру с чужой рукоятью в руке, и пламя поднялось. Люди отпрянули.

Никто ничего не сказал. В этом роду умели пережить многое. Голод. Ледяные дожди. Детей, которые рождались слишком тихими. Мужчин, которые уходили за козами и возвращались костями весной. Но никто не любил смотреть, как огонь ведёт себя так, будто у него есть мнение. Мара подняла глаза на Элу.

— Видела?

— Следы.

— Тело?

— Нет.

В пещере стало так тихо, что слышно было, как Нима скребёт ногтями шкуру под собой. Мать Нимы всхлипнула. Рун вошёл следом, держась за бок. Его отец бросился к нему, но Рун поднял руку.

— Потом.

Это было первое умное слово, которое Эла слышала от него за весь день. Мара всыпала истёртую кору в горячую воду. Горечь поднялась паром. Нима закашлялась, даже не открывая глаз.

— Держи её, — сказала Мара Эле.

Эла села у огня и взяла девочку на руки. Нима была слишком лёгкая. Дети не должны быть такими лёгкими. Даже больные. Даже спящие. В ребёнке должна быть тяжесть будущего — коленки, которые будут разбиты, волосы, которые будут заплетать, злость, которую будут запрещать, смех, который будет мешать старшим. А Нима лежала как горсть тёплого пепла.

— Пей, — сказала Эла.

Девочка не разжала губ. Мара наклонилась.

— Нима. Если не выпьешь, я отдам твою костяную птичку Тару.

Тар, сидевший у стены, возмущённо поднял голову.

— Мне не нужна её птичка.

— Молчи, — сказала Мара. — Врёшь плохо.

Нима едва слышно хмыкнула. Это был такой маленький звук, что никто другой, возможно, не заметил бы. Эла заметила. Юмор иногда был последней дверью, через которую жизнь возвращалась в тело. Она поднесла чашку к губам Нимы.

— Пей, маленькая злая птица. Потом сама отнимешь у Тара всё, что захочешь.

Тар фыркнул.

— Пусть попробует.

Нима открыла рот. Кора вошла в неё с водой, горькая, тёплая, почти невозможная. Девочка захлебнулась, закашлялась. Мать вскрикнула, но Эла удержала Ниму прямо, как учила Мара: не слишком мягко, не слишком жёстко, чтобы тело не решило, что ему разрешили сдаться.

— Ещё, — сказала Мара.

Эла дала ещё. Потом ещё. Нима плакала без слёз. Эла плакала без звука. Рун стоял у входа и смотрел на это так, будто каждый глоток девочки входил ему в рану. Эла не хотела смотреть на него. Но смотрела. Вот так рождается самое тяжёлое чувство: когда человек, которого ты хочешь ненавидеть, приносит то, что спасает любимого. И что с этим делать? Куда деть благодарность, если она пахнет предательством? Куда деть ненависть, если она стоит рядом, белая от потери крови, и молчит, чтобы не мешать ребёнку жить? Нима выпила всё. Потом её вырвало. Потом она снова выпила. Потом уснула. Часы в том мире не существовали, но ночь всё равно умела быть длинной. Люди считали время по смене огня, по тому, как тени двигаются по стенам, по тому, как усталость сначала садится на плечи, потом на веки, потом в кости. Эла сидела, не двигаясь. Нима лежала на её коленях. Мара время от времени трогала ей шею, запястья, грудь.

Рун сел у стены. Его рану наконец промыли. Он ни разу не вскрикнул. Это раздражало Элу почти так же сильно, как если бы он кричал. Его отец, широкоплечий мужчина с лицом, похожим на высушенную кору, подошёл к старейшине их рода и говорил тихо. Слишком тихо. Эла не слышала слов. Но видела направление взглядов. На Ниму. На кору. На мешок зерна. На Руна. На неё. И поняла раньше, чем они произнесли. Правильные поступки редко приходят без счёта. Утро ещё не началось, когда отец Руна поднялся.

— Мой сын принёс кору, — сказал он.

Никто не ответил.

— Мой сын принёс зерно.

Огонь треснул.

— Мой сын пролил кровь за ребёнка вашего рода.

Эла чувствовала, как Нима дышит у неё на руках. Мелко. Но дышит.

— Мы не забываем, — сказал старейшина.

Это было опасное начало. Люди говорили «мы не забываем», когда собирались забыть что-то другое. Отец Руна кивнул.

— Союз должен быть до первого большого снега.

Мать Нимы закрыла лицо руками. Не потому что не хотела свадьбы Элы. Потому что понимала цену своей дочери. Эла медленно подняла голову.

— Арэн не найден.

Отец Руна даже не посмотрел на неё.

— Арэн не из рода.

— Он ушёл за корой.

— И не вернулся.

Слова были как камни. Не острые. Тяжёлые. Эла почувствовала, как внутри неё поднимается смех. Не радость. Не безумие. Тот самый смех, который приходит, когда мир ведёт себя так аккуратно, будто не только что сломал тебе грудь.

— Значит, если мужчина не вернулся, его долг исчезает? — спросила она.

Отец Руна наконец посмотрел на неё.

— Долг живых тяжелее долга исчезнувших.

Это была правда. И от этого хотелось выть. Рун поднялся у стены.

— Отец.

— Молчи.

— Нет.

Все повернулись к нему. Рун стоял, держась за бок, но голос его был ровнее, чем тело.

— Не сейчас.

Отец Руна прищурился.

— Ты принёс зерно. Ты пролил кровь. Ты имеешь право.

Рун посмотрел на Элу. В этом взгляде было то, что она не хотела видеть. Не жалость. Понимание.

— Право, взятое у женщины в ночь, когда она ищет другого, будет гнить, — сказал он.

В пещере кто-то втянул воздух. Отец Руна шагнул к сыну.

— Ты говоришь как мальчик, который хочет нравиться.

Рун усмехнулся.

— Я как раз впервые говорю как мужчина, которому не всё равно, каким будет его дом.

Эла смотрела на него и не знала, что делать с этим новым Руном. Старый был проще. Старого можно было ненавидеть без труда: уверенный, громкий, покупающий её будущее зерном и чужими договорённостями. Этот стоял раненый, некрасивый от усталости, и отказывался брать её в ту ночь, когда мог бы выиграть. Это не делало его любимым. Но делало человеком. А люди в хороших историях всегда мешают ненависти быть чистой. Отец Руна плюнул в огонь.

— До первого большого снега, — сказал он. — Или зерно уйдёт обратно.

Старейшина не возразил. И это было второе предательство этой ночи. Первое совершил Арэн, когда решил за неё, куда ей бежать. Второе совершил род, когда начал считать её цену, пока у неё на руках спал спасённый ребёнок. Эла посмотрела на Мара. Старуха сидела у огня и держала в руке пустую чашку из-под коры.

— Скажи что-нибудь, — прошептала Эла.

Мара посмотрела на неё.

— Что?

— Что они не имеют права.

— Имеют.

Это было почти ударом.

— Мара.

— Право не всегда справедливо, девочка. Право — это то, что люди успели назвать до того, как кому-то стало больно.

Эла почувствовала, как в груди снова поднимается дым.

— Тогда зачем ты вообще знаешь имена, если ничего не можешь изменить?

Мара опустила глаза на Ниму.

— Имя не меняет клетку.

Потом подняла взгляд.

— Оно говорит, где дверь.

*** К утру Нима перестала гореть. Не совсем. Но её кожа уже не обжигала руку. Дыхание стало глубже. Она спала, нахмурившись, словно ругалась с болезнью во сне и не собиралась уступать. Мать Нимы целовала руки Элы. Эла пыталась убрать их, но женщина держала крепко.

— Ты спасла её.

Эла посмотрела на белую кору у огня.

— Не я.

— Ты держала.

Это было маленькое слово. Но оно неожиданно вошло глубоко. Держала. Может, иногда спасает не тот, кто приносит лекарство. И не тот, кто уводит врагов в темноту. Иногда спасает тот, кто остаётся рядом с телом, которое хочет уйти, и не позволяет ему соскользнуть. Эла не знала, почему эта мысль показалась ей важной. Когда-нибудь это вернётся к ней иначе: не памятью, не знанием, а странным узнаванием. Кто-то будет держать её за руку через стекло. Кто-то не войдёт в дверь, чтобы не ранить её своим прикосновением. Кто-то будет спасать не так, как ей хочется, и она снова не сразу поймёт. Но сейчас она просто сидела у огня с больным ребёнком и ненавидела всех, кто был прав. Рун подошёл к ней ближе к рассвету. Он двигался медленно, как человек, который боится не боли, а чужого взгляда.

— Я пойду с тобой, когда станет светло.

Эла не подняла головы.

— Куда?

— По его следу.

— Тебя не пустят.

— Меня многое не пускает. Я редко слушаю.

Она всё-таки посмотрела на него.

— Ты не смешной.

— Я и не старался.

— Старался.

Рун усмехнулся, и на мгновение — только на мгновение — он стал похож на того мальчишку, которым мог быть до зерна, долга, отцовского голоса и её отказа.

— Тогда плохо старался.

Эла почти улыбнулась. Почти. Юмор был опасен. Он делал людей живыми. А живых труднее приносить в жертву собственной ненависти.

— Почему? — спросила она.

— Что почему?

— Почему пойдёшь?

Рун посмотрел на вход в пещеру, где серело небо.

— Потому что он спас мне жизнь.

— Ты его ненавидишь.

— Да.

— И всё равно?

— Люди могут быть больше одного чувства.

Эла отвела взгляд. Это была слишком умная фраза для Руна. Значит, боль действительно делает людей старше.

— И потому что если он жив, — добавил Рун тише, — я хочу первым увидеть его лицо, когда он узнает, что я не взял тебя этой ночью.

Эла резко посмотрела на него. Рун поднял руки.

— Видишь? Я всё ещё умею быть мелким.

На этот раз она действительно улыбнулась. И тут же пожалела. Потому что улыбка не предала Арэна. Но ощущалась как предательство. Вот так и начинается человеческая путаница: чувство живёт больше одного движения за раз, а люди требуют от него чистоты. Снаружи закричала собака. Не тревожно. Странно. Как будто увидела кого-то знакомого, но не решилась радоваться. Эла поднялась так быстро, что Нима застонала у неё на коленях. Мать девочки подхватила её. У входа в пещеру стоял Тар. В руке он держал маленький кусок кожи.

— Это было на камне, — сказал он.

— На каком?

— Там, где тропа делится. Я пошёл за собаками. Они не хотели идти дальше.

Рун выругался.

— Ты ребёнок. Тебя могли...

— Знаю, — сказал Тар. — Поэтому и вернулся.

Мара неожиданно хмыкнула.

— Хоть один мужчина в пещере начал понимать границу между храбростью и тупостью.

Тар гордо поднял подбородок.

— Это Арэна.

Эла взяла кожу. Это был обрывок его наручной защиты. Тёмная кожа, пахнувшая дымом, потом и им. На внутренней стороне был вырезан знак. Это не было ни словом, ни буквой. В их мире ещё не было букв для того, что хотело появиться. Три линии. Одна вертикальная. Две рядом, как расходящиеся лучи. Эла не знала этот знак. Но тело узнало. Её пальцы похолодели. Мара подошла ближе. Увидела знак. И впервые за всю ночь по-настоящему испугалась.

— Где именно? — спросила она у Тара.

— У камня с мхом. Там, где старая тропа идёт не вниз, а за хребет.

Рун побледнел.

— За хребет никто не ходит зимой.

Мара не сводила глаз со знака.

— Это не знак дороги.

Эла подняла на неё взгляд.

— А что?

Старуха молчала так долго, что пещера начала просыпаться вокруг её молчания: кто-то шевельнулся, угли треснули, Нима кашлянула, собака снова заскулила у входа. Потом Мара сказала:

— Это знак тех, кто забирает живых.

Эла услышала, как у Руна сорвалось дыхание.

— Нижние? — спросил он.

— Нет.

Мара закрыла пальцами знак, будто боялась, что он посмотрит на неё в ответ.

— Старше.

— Люди? — спросила Эла.

Мара не ответила сразу. И это был ответ. Свет рассвета вползал в пещеру медленно, серый, холодный, чужой. Эла посмотрела на кожу в своей ладони. Три линии. Одна вертикальная. Две расходящиеся. Как звезда, которую разорвали.

— Он жив, — сказала она.

Рун посмотрел на неё так, будто хотел одновременно согласиться и запретить надежду.
— Ты не знаешь.

Эла сжала обрывок кожи. На внутренней стороне, под знаком, было что-то ещё. Не вырезано. Продавлено ногтем. Неровно. Спешно. Два коротких следа. Потом один длинный. Потом пустое место, будто рука сорвалась. Мара увидела и резко отвернулась.

— Что это? — спросил Тар.

Никто не ответил. Эла поняла не разумом. Разум не мог понять то, что ещё не было языком. Но где-то внутри неё, в том месте, которое не принадлежало ни роду, ни зиме, ни обещанному союзу, поднялся звук. А... Не Арэн. Не имя этой жизни. Первый край другого имени. Адам. Эла шагнула к выходу.

За хребтом

Кричали вороны. И впервые с начала мира ей показалось, что они зовут не мёртвого. Они звали того, кого ещё можно было потерять.

Кто идёт за тем, кого нельзя назвать своим? Эла вышла из пещеры до того, как кто-то успел решить за неё. Так делали только дурные дети, старые женщины перед смертью и мужчины, которые слишком много верили в свои ноги. Эла не была ни ребёнком, ни старухой, ни мужчиной, но в то утро все три вещи казались ей полезными. Снег не падал. Это было хуже. Небо стояло низко и неподвижно, как мокрая шкура, натянутая над хребтом. Воздух пах камнем, старой золой и тем тонким металлическим холодом, который появлялся перед большим снегом. Птицы молчали. Даже вороны за грядой кричали неохотно, будто их тоже заставили смотреть туда, куда смотреть не хотелось.

В ладони у Элы лежал обрывок кожи с выдавленным знаком: одна линия вниз, две в стороны. Разорванная звезда. И под ней — начало имени, которое не принадлежало Арэну. А. Она сжала кожу так сильно, что край врезался в пальцы.

— Ты не пойдёшь, — сказал Рун за её спиной.

Он говорил тихо. Это было умнее крика. Крик можно не услышать, если внутри у тебя уже шумит кровь. Тихий голос приходится замечать. Эла не обернулась.

— Ты не мой отец.

— Нет, — сказал Рун. — Если бы я был твоим отцом, я бы сейчас связал тебе руки и счёл себя хорошим человеком.

Вот за это она иногда почти не ненавидела его. Рун умел быть неприятным честно. Не как те, кто улыбался, пока запирали дверь. Она наконец посмотрела на него. У Руна была шкура на плечах, нож у бедра, лицо серое от ночи и губы, потрескавшиеся от холода. На правой руке — свежая повязка. Та самая рука, которой он держал белую кору, когда вернулся без Арэна. Без Арэна. Эла снова почувствовала, как мир становится слишком большим, слишком пустым, слишком отдельным.

— Ты знаешь тропу, — сказала она.

— Я знаю, где она ломается.

— Тогда пойдёшь впереди.

Рун усмехнулся одним углом рта. Не весело. Усталость у него тоже была колючей.

— Ты решила, что если говоришь как старшая женщина, мир начнёт слушаться?

— Нет, — сказала Эла. — Я решила, что если буду ждать, пока мужчины договорятся, Арэн успеет умереть от скуки.

Рун моргнул. И впервые за всё утро в его лице появилось что-то живое, почти смешное.

— От скуки?

— Он упрямый. Ему надо дать достойную смерть.

— Это самая глупая причина для похода за хребет, которую я слышал.

— Значит, ты мало слышал женщин.

Он отвернулся первым. Не потому что уступил. Потому что улыбка почти выдала его, а Рун предпочёл бы отдать палец, чем дать Эле увидеть, что она способна заставить его улыбнуться в утро, когда у него за спиной лежал долг, а впереди — чужая кровь. Из пещеры вышла Мара. На ней был старый плащ, сшитый из лоскутов так много раз, что ни одна шкура уже не помнила, каким зверем была раньше. В одной руке Мара держала мешочек с сухими травами. В другой — костяную иглу.

— Если ты пойдёшь без еды, умрёшь быстро, — сказала она. — Если пойдёшь с едой, умрёшь медленнее. Обычно люди называют это надеждой.

Эла взяла мешочек.

— Ты меня не остановишь?

Мара посмотрела на её ладонь, где пряталась кожа со знаком.

— Я слишком стара, чтобы мешать тому, что уже случилось.

— Он жив?

Старуха долго молчала.

— Живые оставляют тяжёлые следы. Мёртвые — лёгкие.

— Это значит да?

— Это значит, что ты всё равно пойдёшь.

Мара протянула костяную иглу. На её ушке была завязана красная нитка — выцветшая, короткая, почти грязная. Такими нитками помечали мешки с сушёными ягодами, чтобы дети не путали их с горькими корнями. Такая нитка не должна была выбить у Элы дыхание. Но выбила.

— Зачем это?

— Чтобы не забыть, кто ты.

— Я знаю, кто я.

Мара усмехнулась.

— Молодые всегда знают. Поэтому умирают с таким удивлённым лицом.

Рун тихо фыркнул. Эла бросила на него взгляд.

— Смешно?

— Немного. Умирать удивлённым — очень похоже на тебя.

— Если я умру, я постараюсь сделать лицо, которое тебе не понравится.

— Любое твоё лицо мне не понравится, если ты умрёшь.

Они оба замолчали. Слова вышли не туда. Слишком близко. Слишком честно. Рун сжал ремень у плеча, словно хотел затянуть обратно то, что вырвалось. Мара посмотрела на него внимательно. Не как на соперника Арэна. Как на человека, который тоже уже стоял одной ногой в чужой истории и понимал это слишком поздно.

— Возьми Тара, — сказала она.

Из темноты пещеры донеслось недовольное:

— Я вообще-то ещё слышу.

— Вот поэтому и возьмём, — сказала Мара. — Если старый человек слышит, он иногда ещё может не умереть по дороге.

Тар вышел, крихтя, как дерево на ветру. Он нёс копье, которое было старше некоторых браков в их роде, и мешок с копчёной козлятиной.

— Я иду не за мальчиком, — сказал он.

Эла кивнула.

— За чем?

— За ответом, почему нижние люди поднялись так высоко до снега.

Рун перестал поправлять ремень. Эла почувствовала, как холод поднимается от земли выше щиколоток.

— Они не должны были?

Тар посмотрел на хребет.

— Люди не лезут к голодным соседям перед зимой просто так. Либо у них есть еда. Либо у них есть страх.

— Либо они ищут то, что не ест, — сказала Мара.

Все посмотрели на неё. Старуха будто не заметила.

— Идите. Пока день не вспомнил, что он короткий.

Нижняя тропа

Тропа за хребтом не была тропой. Тропой её называли мужчины, чтобы не признаваться, что иногда они ползали по камням на животе и молились всем умершим, которых ещё вчера высмеивали. Сначала шли по снегу, потом по щебню, потом по чёрной земле, которая пахла сыростью и звериными норами. Чем ниже они спускались, тем меньше было сосен и больше кривых кустов с голыми ветками. Здесь ветер не пел, как наверху. Здесь он шептал в камнях, как человек, который знает плохую новость и наслаждается тем, что пока её не сказал. Тар шёл впереди. Его старые ступни находили опору там, где Эла видела только смерть. Рун замыкал. Это бесило её почти так же сильно, как успокаивало.

— Перестань идти за мной, будто я мешок зерна, — сказала она, не оборачиваясь.

— Мешки зерна обычно не пытаются броситься с обрыва от любви.

— Это потому что зерно мудрее мужчин.

— Зерно хотя бы молчит.

Тар поднял руку. Они остановились. Юмор оборвался так резко, будто кто-то перерезал верёвку. На камне впереди лежал кусок ткани. Не их ткани. Не шерсть горного рода. Не грубая шкура. Это был тканый лоскут, плотный, тёмный, с красной полосой по краю. Ровная полоса. Слишком ровная для их женщин, которые ткали быстро, потому что дети плакали, козы лезли к еде, а зима не ждала красивых узоров. Эла присела.

— Нижние?

Тар кивнул.

— Каменные люди. Те, что ходят к солёной воде.

Солёная вода была почти легендой. Её приносили раз в много лет: белые куски, жгучие на языке, драгоценные, как жизнь. За соль давали шкуры, кремьень, иногда девочек, если зима была плохой и мужчины убеждали себя, что у девочек всё равно будет другой очаг. Эла провела пальцем по красной полосе.

— Они торгуют?

— Все торгуют, — сказал Тар. — Вопрос только чем, когда нечем торговать честно.

Рун присел рядом. Его лицо стало жёстким.

— Я видел такие полосы.

Эла повернулась к нему.

— Где?

Он не сразу ответил.

— Внизу. Три зимы назад. У людей, которые покупали живых.

Слово «покупали» не сразу вошло в Элу. Оно было слишком ровным для того, что означало. Покупают нож. Покупают соль. Покупают шкуру. Покупают женщину, если мужчины достаточно голодны, чтобы назвать это браком. Но живого мужчину? Арэна?

— Зачем?

Тар поднялся.

— Сильные руки не портятся в дороге.

Эла почувствовала тошноту. Не от страха. От того, что мир снова оказался шире и грязнее, чем её род рассказывал детям у огня.

— Они забрали его работать?

Рун посмотрел вниз, туда, где камни уходили в туман.

— Если повезло.

— А если нет?

Он не ответил. Эла поднялась так быстро, что мир покачнулся.

— Тогда идём.

Тар перехватил её за локоть.

— Быстрота — это способ умереть до того, как узнаешь, зачем пришёл.

— А медленность — способ опоздать.

— Вот, — сказал старик. — Теперь ты говоришь как он.

Элу кольнуло так, будто Арэн стоял рядом и усмехался. Она сжала красную нитку на костяной игле под одеждой. И в голове, как чужая птица, снова метнулся звук: Адам. Она испугалась не имени. Она испугалась того, что часть её отозвалась.

Люди нижних камней

Первый дым они увидели не глазами, а носом. Он был жирнее их дыма. В нём было больше мяса, больше жира, больше соли. Так пахли люди, которые не боялись, что завтра придётся варить кору. Так пахла сытость. И от этого запаха было страшнее, чем от крови. Лагерь нижних стоял в каменной чаше, куда не доставал северный ветер. Там были низкие укрытия из жердей и шкур, костры в ямах, развешанные сети, связки сушёной рыбы, кости крупных зверей и люди — больше людей, чем Эла ожидала. Мужчины с обритыми висками. Женщины в тяжёлых накидках. Дети с красными полосами на щёках. Собаки, слишком худые для сытых людей и слишком злые для детских рук.

— Не шевелиться, — выдохнул Тар.

Они лежали в скальной тени над лагерем. Под ними мир жил своей жизнью: кто-то точил камень, кто-то смеялся, кто-то ругался из-за котла. Обычная жизнь. От этого у Элы внутри что-то перекошилось. Она хотела увидеть чудовищ. С чудовищами легче. Чудовища не кормят детей. Не поправляют на плечах старухи шкуру. Не целуют женщину в висок, проходя мимо. Не смеются над собакой, укравшей рыбку голову. Люди нижних камней были людьми. И всё равно у одного из костров на земле сидели трое связанных. Эла перестала дышать. Первый был мальчик лет двенадцати, не из их рода. Второй — женщина с разбитой губой. Третий сидел спиной, голова опущена, тёмные волосы свалились на лицо. Даже спина может быть узнаваемой, если всё внутри уже выбрало, за кем идти. Арэн. Она дёрнулась вперёд. Рун успел накрыть её рот ладонью и прижать к камню. Эла укусила его. Он не отпустил.

— Тихо, — прошипел он ей в ухо. — Хочешь, чтобы его убили быстрее?

Она замерла. Его рука пахла дымом, кровью и белой корой. Ненавистный запах спасения. Тар медленно снял с плеча копьё.

— Слишком много людей.

Эла смотрела только на Арэна. Он поднял голову. Мир сузился. На расстоянии, через дым, людей, собак и невозможность, он вдруг посмотрел прямо туда, где она лежала. Он не мог её видеть. Камень закрывал их. Тень была глубокой. Ветер шёл вниз, не к лагерю. Но он посмотрел. И Эла почувствовала это так, будто он положил ладонь ей на грудь изнутри. Арэн медленно, почти незаметно, качнул головой. Нет. Она поняла. Не подходи. Не сейчас. Не ради меня. Ненависть поднялась в ней горячей волной. Не к нему. К миру, который снова требовал от неё быть разумной, когда всё внутри кричало броситься вниз и перестать быть отдельной. Рун убрал ладонь с её рта. На коже у него остался след её зубов.

— Ты увидела?

— Он жив.

— Он сказал не идти.

— Он всегда говорит глупости, когда его связали.

— Эла.

Она повернула голову. Рун впервые сказал её имя так, будто оно могло разбиться.

— Если ты сейчас сорвёшься вниз, он умрёт, ты умрёшь, Тар умрёт, а я, скорее всего, буду вынужден прожить с мыслью, что Мара была права насчёт моего лица.

— Тебе всё ещё удастся быть невыносимым.

— Я стараюсь. Это единственное, что у меня получается без подготовки.

Она почти засмеялась. Почти. Внизу один из нижних подошёл к Арэну и ударил его древком копья по плечу. Смех умер во рту Элы, не родившись. Арэн даже не вскрикнул. Он только посмотрел в сторону мальчика рядом. Мальчик дрожал. Тогда Арэн чуть повернул руку, насколько позволяли ремни, и коснулся его запястья двумя пальцами. Неловко. Слабо. Но мальчик перестал трястись. Даже связанный, Арэн нашёл кого защищать. Эла закрыла глаза.

И вот за это она его ненавидела сильнее всего: за то, что рядом с ним любить становилось не желанием, а обязанностью стать лучше, чем твой страх.

Ночная сделка

План придумал не Рун, и это было неприятно всем. План придумала Эла. Тар сказал, что это плохой знак. Рун сказал, что плохой знак — это когда план придумывает человек, который умеет считать только до «надо». Эла ответила, что мужчины, умеющие считать дальше, обычно заканчивают тем, что считают женщин частью чужого имущества.

После этого они несколько мгновений смотрели друг на друга с таким чувством, что Тар велел им обоим заткнуться, потому что даже камни устали от их брачного спора, который браком не был. План был простым, а значит опасным. Дождаться, пока лагерь поест. Дождаться, пока собаки получат кости. Спуститься через сухой ручей за укрытиями. Не освобождать всех. Не геройствовать. Найти, где держат Арэна ночью. Перерезать один ремень. Дать ему нож. Уйти до луны.

— Не освобождать всех? — спросила Эла и сразу возненавидела себя за то, что голос дрогнул.

Тар посмотрел на неё без жалости.

— Если освободим всех, не уйдёт никто.

— Там мальчик.

— Там зима. Там собаки. Там двадцать копий. Там люди, которые знают свой камень лучше нас.

— Он ребёнок.

— Поэтому ты хочешь умереть красивее?

Эла ударила бы его, если бы он был моложе. Вместо этого она отвернулась. Это было первое место, где её любовь к Арэну столкнулась не с Руном, не с родом, не с обещанным союзом, а с чем-то гораздо хуже: с количеством боли, которое невозможно спасти двумя руками. Рун присел рядом.

— Ты думаешь, если выберешь Арэна, предашь мальчика.

— Я думаю, если не выберу мальчика, стану такой, как мужчины у костров, которые решают, кто стоит соли.

— Ты не они.

— Откуда ты знаешь?

Рун долго молчал. Потом сказал:

— Потому что ты спрашиваешь.

Это было слишком мягко для него. Эла хотела не заметить. Не получилось. Он протянул ей маленький нож с костяной рукоятью.

— Возьми.

— У меня есть нож.

— Твой режет травы. Этот режет ремни.

— Откуда он?

— От моего брата.

Она знала, что у Руна не было брата. По крайней мере, живого.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.